

В начале жизни школу помню я;
Там нас, детей беспечных, было много;
Неровная и резвая семья...
А. С. Пушкин

ДОРОГА К ШКОЛЕ Вступление

Когда проходят десятки лет жизни, часто вспоминаешь своё далеко укатившееся детство, стараешься вспомнить каждый час и каждый шаг той далёкой жизни. Но вспоминается больше лишь хорошее, а если и нарисует память картину непохвального поступка, то и в этой картине оказывается больше светлых и весёлых красок. И всё, что остаётся в памяти, помогает жить и в трудные минуты, и в радостном пребывании. С годами больше и чаще вспоминается детство. Оно не хочет остаться в забвении. И пишут поэты о детстве стихи, сказочники сочиняют сказки, и многие-многие люди оставляют воспоминания другим людям, рассказывают о себе и не о себе. Когда человек описывает своё детство, то он пишет не о себе, а о детстве: о детстве сестёр и братьев, о детстве друзей и недругов, и если он называет себя героем, то тут надо ещё посмотреть, а он ли главный-то герой.

Вот и от меня моя память потребовала написать повесть о детстве.

Ей нет дела, хочется мне приниматься за этот непосильный труд или не хочется. Она одно говорит: «Пиши!»

Я хотел начать писать с того, как однажды по дороге из школы, а было это в 1937 году 10 февраля, я шёл с ребятами домой.

По случаю того дня нас отпустили из школы раньше. День был печальный, потому что ровно сто лет назад умер самый великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин.

От школы до нашей деревни Каменки было два километра. Мы шли по зимней накатанной дороге, несли в сумках через плечо книжки. В полях лежал глубокий снег. От солнца блестела дорога и сверкали снежинки.

В небе загудел аэроплан. Мы задрали головы и стали искать его. Аэроплан пролетел далеко в стороне от нас, скрылся.

На небе остались лёгкие летучие облака. И вдруг на наших глазах свершилось чудо: ветер закружил облака, свил их в колечки и остановил над нами.

— Это знаете почему такое небо стало? — спросил я и объяснил: — Потому что в этот день помер Пушкин. У него голова была кучерявая, вот и небо такое.

Все поверили в мою придумку, согласились, что в этом правда. Мы радостно зашагали к деревне. С этого я и хотел начать мою повесть о детстве, но память подсказала мне, что моя жизнь началась не со школьных дней, а много раньше, о ней-то и надо прежде рассказать ребятам, потому что через ту жизнь проходит дорога к школе и немало забавного встречается на том пути, забавного, интересного и поучительного. А потому всё детство каждого человека можно назвать школой.

СКАЗКА О ГЛАВНОМ ДНЕ

Однажды мне мать сказала, что утром придёт мой самый главный день в жизни, день моего рождения, что в этот день она испечёт лепёшки, наварит пшённой каши и ещё чего-то, сготовит вкусный завтрак, праздничный. От меня требовалось в тот день лишь одно: не проспать его.

— Ну, я не просплю. Я раньше Мишки проснусь, — пообещал я и стал с нетерпением ждать утра, а с ним и своего главного дня.

Но утром я не проснулся раньше брата. Я проспал. А проспал я потому, что очень ждал свой день, .вечером долго не мог уснуть, разговаривал с матерью.

Есть счастливые ребята, которые растут на руках у бабушек. От бабушек они и узнают всё о себе. Я рос безбабушным, мать была всегда в делах да заботах, на разговоры с нами у неё часа не находилось, а я всё расспрашивал её о самом себе.

Бабушки всегда говорят своим внукам, откуда они берутся в доме. Лёньке Смалькову, моему двоюродному брату, бабушка Аня сказала, что его принёс к ним в дом цыган в мешке. Бабка Фёкла, это из соседнего с нами дома, про своего Кольку говорила, что его кошка в зубах принесла из омета, а Витьку Тику, брата Колькиного, в грачином гнезде нашли. Улетели грачи, а их отец услышал однажды, что кто-то плачет в опустевшем гнезде, взобрался на ракиту, посмотрел, а в гнезде — Витька. Снял он его да и стал кормить. Про Кольку Столыпина говорили, что его в лохани с помоями поймали, оттого он и остался на всю жизнь неумытым да сопливым.

Тогда вечером перед моим главным днём мать рассказала мне всю правду. Видимо, я надоел ей тогда своими расспросами, она и повела свой рассказ: «Да сколько ты будешь мне надоедать, откуда ты взялся? Пришёл откуда-то — и вся недолга. Отлучилась я к сестре, а вернулась, гляжу, а у нас лежит кто-то на постели. Вижу — мальчик малой. Обрадовалась я, да не надолго. Мальчик захожий лежит и жизни не подаёт. Испугалась я, бабу Фёклу покликнула. Она у нас мастерица была младенцев к жизни обращать. Принялась бабка за тебя, билась, билась, да толком-то ничего и не добила. Отступилась она от тебя да говорит, что за попом отца посылать надо, что не захотел малой жить. Воля его, ей с тобой не сладить».

Случилось, что отец на лошади к дому подъехал. Кликнули его в избу, говорим, так-то и так, мальчик вот к нам жить явился, да хворый, видать, слёг и помирает. Поезжай за попом в Село, отпоёт его поп да схороним в землю-мать сыру. Посмотрел-то отец на тебя, со слезой на глазах повернулся от тебя да пошёл к порогу. Хоть и был у нас сын в помощниках, да два-то сына всё лучше. Не преминула и я оплакивать тебя. Отец замешкался в дверях, свиту снял поа от ветра закутать, дверь растворил, за порог переступил, а ты-то как крикнешь да как заплачешь во весь голос. Бабка Фёкла тут-то и присела. У меня сердце в груди оборвалось. Отец свиту уронил, стоит ногой в избе, а другой-то за порогом. Кинулась я к нему да затащила в избу, вернула. Намыли мы тебя тогда-то, запеленали в

пелёнки, свивальником по рукам-ногам свили, чтобы тепло тебе было да рученьки с ножонками не кривились, и спать положили...

Вот и весь сказ о тебе...»

Мне мало оказалось этого сказа. Я слушал бы всю ночь. И я стал выспрашивать:

— Мам, а откуда я пришёл-то тогда?

— Ты не сказал нам об этом, да надо думать, что из жарких стран ты явился. Дело весеннее, птицы оттуда же тянутся, — и ты с ними прибился к нам.

— А почему я помереть хотел?

— А уж хотел ли помереть-то? Мой сгад — уморился ты за дорогу да бухнулся спать-посыпать. Что ты помирал — нам показалось.

— Мам, а какой день был, когда я пришёл к вам?

— Весенний был день, солнечный, тёплый...

Утром я проспал. Наверное, я очень любил поспать. Я слышал, как слезал с печки Мишка, я чувствовал запах дыма, когда мать зажгла в печке дрова, но я не проснулся, пока не разбудила меня мать.

— Лёнька, Лёня, — слышал я тихий голос матери, тихий и добрый. Она звала меня проснуться и жалела, что будит меня. Долго слышался её голос. Я отзывался на него мычанием, закапывался в подушки.

— Лёня, твой день пришёл, — сказала мать. — Вставай, посмотри, какой он ясный.

Я разом вскочил, вспомнив о важности нового дня, и стал торопливо одеваться. День надо было рассматривать на улице. В избу он заглядывает лишь одним глазком солнечным с утра в одно окно, а потом в другое, а на улице он весь смотрит на тебя, большой: от земли до неба и со всех полей и лугов.

Я очень не любил, когда меня будили, но в этот день пожалел, что проспал, что отец был уже на работе. Мишка ушёл в школу, а спала лишь сестрёнка в люльке, потому что она была маленькая совсем и ей не надо было куда-то вставать. Я тогда знал уже от брата, что у каждого дня есть число, знал, что моё ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТОЕ из весеннего месяца МАРТА, а год, когда я появился в доме, был ТЫСЯЧА ДЕВЯТЬСОТ ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТЫЙ.

ПОИСКИ СВОИХ СЛЕДОВ, ИЛИ ПРОДОЛЖЕНИЕ СКАЗКИ О ГЛАВНОМ ДНЕ

Помнить я начал раньше, чем научился обуваться в лапти. Да, тогда мы ходили ещё в лаптях. И опять быть бы мучениям с онучами и верёвками, быть бы и слезам, но по случаю моего главного дня мать быстро обула меня и отпустила на все четыре стороны посмотреть на солнце, на сад, на птиц.

Перед окнами нашей избы росли тополь, высокая тонкая берёзка и толстая ракета. На каждом дереве висело по скворечнику. Я сразу задрал голову на верхушки деревьев. На гибкой верхушке берёзы сидела ворона. Она закаркала, словно обрадовалась мне или обозлилась, что я вышел на улицу. Скворцов не было у скворечников. Я прикрикнул на ворону. Она качнулась, забила по воздуху крыльями и улетела на высокие соседские берёзы. С огорода вдруг прилетел скворец, сел на воронье место, оглянулся и свистнул, потом потрепыхал крыльями, покрякал по-утиному, передразнил жеребёнка, изобразил петуха и полетел на колхозный сад.

— Не живут. Скворечники с дырками, — сказал я. Мать вышла с ведром за водой, спросила:

— Что с дырками? Не лапти ли?

— Нет. Скворечники с дырками. Скворцов-то нету. Один посидел на берёзке и улетел.

— Будут скворцы. Это чужой был. Наши, видно, не долетели ещё.

— А когда они долетят?

— Пора уж, вот где-то замешкались, — ответила мать и опустила в колодец ведро.

— Ой, весна, весна, — сказала она. — Вода поднялась. Скоро без верёвки черпать можно будет.

Я подошёл к колодцу и заглянул в него. Вода была недалеко. В ней отразилось моё лицо.

— Не смотри в колодец, — сказала мать. — Вокруг скользко, упадёшь туда — и поминай как звали тебя.

Я отошёл от колодца и увидел сразу двух скворцов на тополе. Один пел у скворечника, а второй подбирался к нему. Поющий прогнал его и вернулся на тополь.

— Мамка, наш скворец прилетел! — крикнул я.

— Пускай его прилетел, — ответила мать из-за двери. — Некогда мне ими любоваться. Твоё это дело.

Следить за скворцами действительно было делом моим. Мишка вычистил на днях скворечники, поправил их и наказал мне смотреть, прилетят ли к ним скворцы.

— Прилетели, — сказал я и направился в сад.

Снег в саду просел, сугробы убавились. Зимой Мишка с большими ребятами сделал в сугробе дворец снежный. И когда он уходил в школу, то я играл в этом дворце со своими друзьями. Теперь дворца не оказалось. Своды его рухнули, остались развалины. Прошлым днём было тепло, пасмурно. Туман разъел снег, сделал его рыхлым, снег и перестал держаться.

Утро моего дня напустило на снег мороз, снова схватило его твёрдой коркой. Я выбрался от хлева на сугроб, не утонул. Осторожно ступая, направился через сад в огород. Я решил, что пришёл я когда-то в свой дом с этой стороны, потому что с огородов к нам зимой пришли в гости дяди: Семён и Зорюшка. Они были с ружьями, с собаками и с зайцем. Мишка осенью, когда не было снега, тоже приходил из школы через огород.

Зимой в огород отец навозил навозу. Все навозные кучки вытаяли из снега, все следы превратились в большие круглые ямки. Я уже немного знал, где чьи проходили следы, но теперь они все подряд сравнялись и пугали, словно были не кошачьими или заячьими, а огромных страшных зверей. Мне показалось, что звери эти затаились за навозными кучками и от дома мне лучше не уходить.

Когда я выбрался из сада к порогу, у тополя стояла подвода. Я бросился в избу. Заехал на завтрак отец. Он был весёлый, словно в праздник.

— Пришёл, — сказал он, — а то мать меня без тебя за стол не пустила. Раздевайся, умывайся — да завтракать.

— А я умывался, — сказал я.

— Да, он сам умылся, — подтвердила мать, — ни словом не заставляла.

— С чего бы это? — удивился отец.

— Ай не знаешь с чего? — спросила мать. — - Подумай, может, вспомнишь.

Отец не мог вспомнить. Я рассмеялся и сказал:

— Да главный же день мой нынче. Я к вам пришёл-то в этот день.

Отец хлопнул ладонями, воскликнул:

— Вот оно что! А у меня совсем память отшибло. Думаю, с чего бы тебе добровольно умываться? А тут важная причина. Ну, за стол тогда разом. А после завтрака куда-нибудь прокатимся с тобой.

— Куда? — спросил я, показывая нетерпенье.

— На кудыкину гору посмотреть там собачью свору, — пошутил отец. — Сядем в сани — дорога сама скажет тебе, куда мы направимся.

Поехали мы тогда с отцом в Село. Отец сделал дяде Семёну кадушку, повёз отдавать, не дождавшись его за своей вещью. Но я решил, что отец поехал в Село, чтобы прокатить меня в мой праздничный день, а заодно и свезти кадушку.

Отец сразу от дома пустил лошадь рысью. Снег уже снова разрыхлился, зашумел под лошадиными ногами и под санными полозьями. Колька крикнул от порога: «Куда вы?» — и погнался за нами. Но на дороге он споткнулся, сунулся в снег, посмотрел нам вслед и стал подниматься.

— Упал Колька, — сказал я отцу.

— Прокатиться хотел, — ответил отец, — но мне некогда сейчас с ним заниматься. В другой раз прокачу.

Потом на нас накинулась собака Машковых. Отец остепенил её кнутом и направил лошадь на нижнюю под деревней дорогу. Мне хотелось ехать по деревне, чтобы ребята видели меня, как я еду. Напротив своего дома выбежал на бугор Васька Федосеичкин, проводил нас взглядом до мосточка.

Дорога побежала в гору, и лошадь пошла шагом, а отец слез с саней, дал мне в руки вожжи и пошёл следом за санями.

— Пап, садись, — сказал я. — Не тяжело.

— Пройдусь немного, — ответил он. — Скоро тут хлынет половодье, не ступишь ногой. Ах, как зашумит вода-то!

— Он махнул рукой: — Всё тут затопит и дорогу смочет, унесёт по лугам.

Когда мы поднялись на перевал, отец сел в сани и снова пустил лошадь под изволок рысью.

— Пап, а ты хитрый, — сказал я.

— Откуда ты взял, что я хитрый? — посмеиваясь, спросил отец.

— Да, ты шёл пешком, лошадь жалел, а сказал...

— Ну, разумеется, разумеется, — согласился отец. — Ради скотины можно и похитрить. А так какая во мне хитрость? Когда б я не слез с саней, сказал бы, что лошади легко, дорога хорошая, тогда больше было бы хитрости. А ты тоже хитрый. Разгадал мои слова.

— Нет, я тоже не хитрый... Я не хочу хитрым быть.

— Это хорошо, — одобрил отец. — Хитрым не стремись стать, а от разума не бегай.

— Не буду бегать, — ответил я. — Я, пап, шагом ходить буду.

Отец рассмеялся.

— Это от разума-то шагом ходить? К разуму надо идти и бежать.

— Как я к вам пришёл? — спросил я.

— Я что-то не помню, как ты к нам пришёл, — сказал отец.

Я рассказал ему так же, как мне рассказывала мать о моём приходе в наш дом. Отец слушал меня и поддакивал, что всё было так. А когда я закончил рассказ, он посмотрел на небо и сказал:

— День какой солнечный! Счастливый ты человек!

— А когда я пришёл к вам, тогда тоже такой день был?

— О, да! Тоже светило солнце и скворцы с жаворонками пели.

— А я не помню, — сказал я.

— Ясное дело, что не помнишь. У маленьких памяти не бывает. Отстаёт она от них. Ко мне тоже не сразу память пришла.

— Пап, а я с огородов пришёл? Отец подумал и сказал:

— Нет, ты пришёл с южной стороны, от колхозного сада. За огородами холодная сторона, северная. А за колхозным садом — южная. Там тепло всегда. Оттуда и птицы к нам прилетают.

— А я-то думал, с огородов.

Я понял, что следы свои искал не в той стороне, что надо было идти через плотину на выгон, потом в колхозный сад. Решил потом сходить туда, найти свои первые следы. Я об этом так задумался, что не запомнил, когда мы въехали в село.

СКАЗКА О РАДОСТИ

Рядом с нами под одной железной крышей жили Лукьяновы: бабка Фёкла, да её сын Василий Кузьмич с женой Ольгой Михайловной, да дети их, Колька и Витька, который сразу назвал себя Тикой, да так и звался и теперь зовётся, а ещё их новый брат Шурка, он ещё качался в люльке и не имел в нашей жизни никакого значения. Колька был буйный, всегда ругался с бабкой, а бабка была сварливая, ей всё равно было, с кем ругаться. И вот с утра и на весь день у них заводился скандал. Ходить к ним я не любил. Рядом с ними жили Ефремовы, а дальше Смальковы. Там жила моя тётка Варя, но мы её всегда звали няней, няней Варей. Она нянчилась с моим братом, со мной, хотя я это не помню, а потом, когда мне было два года, их дед Серёга привёз им из Москвы в корзине тоже Лёньку. Он быстро вырос, и мы с ним стали дружить. У Лёньки была бабка Анюта, ласковая, добрая и желанная.

Лёнька не отставал от меня ни на шаг. Я воспитывал его, заступался и не пускал в опасные места. Жили мы и

росли, словно родные братья.

Однажды весной я пришёл к ним, а Лёнька ревет, никого к себе не подпускает, ничего не ест, не пьёт. Я посмотрел на него, вздохнул и сказал:

— А у Феколы тоже крик стоит. Я не пошёл к ним...

— У Феколы-то и стоять крику, — сказала бабка Анюта. — Там радость в дом не залетала. А у нас-то с чего бы быть крику?

— Бабушка, а у вас залетала радость? — спросил я. Лёнька замолчал, прислушался. Бабушка ответила:

— У нас она всё время жила, а теперь вот крикун-то прогнал её.

— Нет, не прогнал! — крикнул Лёнька и встал с пола. — Я есть хочу.

— Давала тебе есть, а ты криком занялся, — сказала бабушка. — Садитесь теперь вместе за стол. Только тебе, крикуну, умыться надо сперва.

Я сел за стол первый, спросил:

— Бабушка, а у нас радость живёт?

— Живёт и у вас, детка. С чего бы ей у вас-то не жить? Мать ваша работающая да добрая; отец умелец да весельчак, вы спокойные да послушные. Живёт у вас радость, живёт.

— А я не видел её, — сказал я.

— Ну, да её и не всяк видит. Чему уж удивляться-то? Она не лезет на глаза. Некогда ей перед людьми красоваться. Заботушки у неё край непочатый.

— А что она делает? — спросил я.

— О, о её делах долгонько рассказывать. Ну, погодите, вот усядетесь за кулеш, а я поросёнку корму вынесу да расскажу вам про неё. Всё порядком расскажу, ничего-то не утаю.

Бабушка понесла корм поросёнку. Лёнька сел за стол, и мы стали с ним уплетать гречневый молочный кулеш. Когда бабушка Анюта вернулась в дом, взяла клубок со спицами, стала вязать чулок и рассказывать нам о радости:

«С каждым человеком приходит на всю жизнь Радость. Весёлая она каждым часом, добрая. Вот улыбка-то у неё — во всё лицо сияет. Утром просыпается человек, а Радость тут как тут. Посмотрит он на неё и улыбнётся. И куда бы ни шёл человек, ни ехал, Радость всё с ним. Уморится он в дороге, вот нахмурится, а она ему на ушко скажет: «Не дело тебе хмуриться, друг мой. Всяк путь труден. Наморился — не дуйся. Знай, что я с тобой рядом. Сядь на обочинку, на травку шёлковую, полюбуйся цветочками, посмотри на пчёлку-букашек. Отдохнёшь, да и дальше потопаем с тобой». Присядет прохожий человек на травку-муравку, отдохнёт и снова путь свой в радости справляет. Так и в любой работе Радость человеку помогает. Вечером, когда солнце за край земли зайдёт, Радость людям звёзды по небу рассыпает, месяц али луну выкатывает, чтобы в ночь тёмную о потёмки не стукаться. Нет человеку сна — любуйся небом бисерным, а сон скажется — Радость веки тихо прикроет и сама отойдёт на отдых в гнездо своё тёплое.

А почнёт человек капризы выказывать, Радость и отойдёт от него, на жёлтые цветы отлетит, да и останется на них, будет радовать всех добрых да весёлых. Беречь радость-то свою каждому надо. Без неё во злости-то да строгости непомерной какая жизнь? Во злобе сердце воспламениться может да сгореть до времени — жизни не повидишь».

— Бабушка, кулеш весь, — сказал Лёнька.

— И сказка кончилась, — сказала бабушка. — Оближите ложки — и на волю. Только к пруду одним не ходить, огнём не баловаться и в колодец не смотреть.

— Бабушка, а у Радости есть враги? — спросил я.

— Есть враг у неё, у солнечной, один вражина — Злость. Отступится от тебя Радость, — Злость тут как тут и заняла её место.

— А про Злость тоже есть сказка? — спросил я.

— Про неё я не слыхала сказки, верно, есть тоже, а услышу — и расскажу вам её разом, — пообещала бабушка.

Но эту сказку от бабушки Анюты я не дождался, а со Злостью встречался сам не раз, когда забывал о Радости, и расскажу о ней всё по порядку.

От привычки спать я проснулся позже всех. Отца в избе не было. Он уже работал до завтрака на улице. Мать если не уходила к колодцу за водой или не доила корову, то топила печь, гремела ухватами, чапельником, кочергой, выставляла шипящие чугуны со сковородками. По избе растекался аппетитный, дразнящий запах жаркого или блинов. Мой брат Мишка сидел за столом и уплетал печёную картошку, блины или саломату, а потом пыхтел над обушей-одежей и вываливался на улицу. Меня к этому времени брала в плен Злость и корчила меня. Она надувала мои губы, щёки, насупливала брови, заставляла пыхтеть и бухать по печке ногами.

— Кто это там стучит? — спрашивала мать. — Вот завали мне печку — будет тебе. Ни картошки печёной не получишь никогда, ни блинов.

— Да, а что он всё поел и ушёл, — дулся я.

— Ранняя птичка носик очищает, а поздняя глазки продирает, — отвечала мне мать. — Вставай. Сейчас отец завтракать придёт.

— Пускай приходит, — злился я и оставался на печке.

Вот уж эта Злость. И рад бы я был разом слететь с печки, смочить водой глаза, нос и сесть за стол вместе с отцом, степенно позавтракать, пошутить, порадоваться чему-нибудь, но Злость не позволяла, нащёптывая: «Не спеши. Полежи ещё, позлись. Пусть они поклоняются тебе, коль обидели, не побудили, как сами встали». И я злился, пыхтел, хлюпал.

— На блинок, съешь, — говорила мать и подавала мне на печь горячий, сухой блин.

Я обжигал о блин руки. Злость подталкивала меня: «Злись, злись! Тебе же горячий блин дали. И без сметаны, и сахаром не посыпали».

— Да, он обжигается, — канючил я.

— А ты подуй на него, — советовала мать. — Холодный блин — не блин, а подмётка от сапога.

В избу входил отец. От него шёл холод, но сам он был без вязенок, горячий, как мне казалось, и радостный. Он

раздевался, заглядывал на печку.

— Спит ещё соня? — спрашивал он.

— Проснулся. Молнии мечет с утра, — отвечала мать.

— Переспал, — говорил отец и обращался ко мне: — Сын, сползай со мной завтракать. Потом в ригу за мякиной лошадям поедем.

Я слезал, словно дед, с печки, смотрел в печь на яркий огонь и всё ещё злился. Печь дотапливалась, всё уже изжарилось, испеклось и сварилось, а я ещё босиком.

— Полей-ка, сын, на руки.

Я беру кружку и лью на отцовские руки, большие, шершавые от зимней работы, холодную воду.

— Ну, а теперь подставляй ты свои, — говорит отец.

— А ты не умывался, — замечаю я.

— Э, я умылся, ещё когда за окном не брезжило.

Я запоминаю слово «брезжило» по-своему: «не брюзжало», надеюсь, что оно мне обязательно пригодится, сжимаюсь в комок и подставляю свои крохотные ладошки под кружку. Я вздрагиваю от водяной струи, но — о, чудо! — вода тёплая. Это мать успела добавить в холодную воду тёплой. Я от радости улыбаюсь, тру рукой руку, тычу мокрым пальцем в один глаз, во второй, провожу опять же одним указательным под носом — и готов к параду.

ЗИМНИЕ СКАЗКИ

Спросил я у Памяти: какое время года лучше? Она мне и ответила, что все хороши для нормального человека, что судить их она не имеет права и мне не велит, и, если я люблю тепло и бегать босиком где заблагорассудится, ругать осень или зиму ещё не следует. Хороша бывает осень, сказочна бывает и зима. И рассказать о зиме тоже есть что. Только выдумывать о ней ничего не надо. Я доверился своей Памяти и решил рассказать несколько сказок о зиме, но не совсем сказочных, а сказок-былей.

ЗА ДРОВАМИ

Ещё осенью нарубили в лесу дров, и тогда отец сказал:

— Путь наладится — привезём по снегу.

Я знал, что «путь» — снег, зимняя дорога. Дрова легче возить на санях, и ждёт вся деревня этот санный путь. Но давно прошёл первопуток, сколько сугробов зима наворотила, сколько снегу намело всюду, а дрова всё лежат и лежат в лесу, как будто забыли о них.. Спрошу у отца:

— Пап, ну когда же дрова-то привезём?

— Привезём.

Вспомнится мне в непогоду, как лежат они там на поляне, и жалко их станет. Снегом их заносит, морозом морозит, и волки подходят к ним. Дома-то хорошо им было бы...

А хорошо ли дома-то, вдруг придёт на ум, спрошу у кого-нибудь:

— Больно дровам, когда они горят, или не больно? Брат говорит, что дрова не чувствуют — им не больно; отец задумается, ответит: «Может, и больно. Посмотри, как они горят, подумай сам, больно ли им». Мать говорит: «Бог его знает, найдёт о чём пытаться. От огня всему больно».

Смотрел я в печку и видел, как плачут дрова, трещат, извиваются, когда огонь по ним прыгает. Думал тогда, что лучше, если они в лесу, но потом опять жалко их станет.

Пошла мать в Гудиловку мимо-леса, отец наказывает:

— Посмотри, мать: дрова-то наши там целы?

— Зайду, гляну, — отвечает мать. — Надо выбрать день да перевезти нам их.

— Выберу, — говорит отец. — Всё никак не выбраться. Сколько можно выбирать этот день, и откуда ещё отцу надо выбираться, чтобы съездить в лес? Новый год прошёл давно, печку мать соломой топит, а дрова в лесу. Но вдруг наступил этот день. Утром отец шепнул мне на ухо:

— От дома никуда не уходи. Съезжу в посёлок, поедем за дровами.

Я долго старался не выходить из избы: как выйдешь на улицу, по шажку, по шажку — и уйдёшь, а потом забудешь, что в лес надо. Отец тоже долго не возвращался. Я и матери надоел, спрашивал, когда да когда он приедет.

— Разве скоро, — отвечает мать, — пока туда да сюда, а там к свату Афоньке, поди, зашёл, и Максим мимо тоже не пропустит.

Приехал отец домой уже после обеда, зашёл в избу, взял верёвки, топор с лопатой — и мы отправились с ним в лес.

По деревне дорога с раскатами: сани то прямо едут, а то катнутся вбок, чуть не падаешь в снег. За деревней к лесу старый, занесённый след по балке. Это дорога. На ней всегда неровный снег, ямками, даже когда по снегу никто не проходит, не ездит.

Отец отдаёт мне вожжи, говорит:

— Правь лошадей, учись.

Он уступает мне место впереди в санях, сам отодвигается и задумывается о чём-то. Я осматриваюсь вокруг, смотрю на небо, на снег. Небо высокое, синее, только ястребы вьются и вороны куда-то пролетают. Отец говорит, что ястребы смотрят сверху на снег, ждут, когда мышь выскочит из-под снега.

— Они так высоко видят? — спрашиваю я.

— Да, — отвечает отец. — Они очень далеко видят.

— А вороны куда летят?

— Вороны свой дом ищут, родину.
— У них нет дома? — удивляюсь я. — А гнёзда не дома у них?
— Дома, но только на лето, а осенью они улетают из них, — рассказывает отец. — И родины у них нет поэтому.
— И касаточки улетают, — говорю я, — и жаворонки, и скворцы тоже.
— Улетают, — соглашается отец, — но весной они опять прилетают туда, откуда улетели.
— А почему вороны не прилетают?
— Они летят и летят, не думают, что весна скоро наступит, а когда весна приходит, смотрят, а домой-то им далеко возвращаться — проворонили — и выют гнездо где придётся. Так и родину проворонили они свою.

Я смеюсь и дёргаю вожжу. Отец говорит:

— Пусти лошадь, она знает дорогу, а то собьёшь её.

Начинается лес. Дубы все в снегу. Они, как деды в шубах, шли сверху и остановились на склоне, стоят, думают, уходить им из балки или перезимовать здесь. Тихо в лесу. Снег на ветках, как сахар, лежит. Следы заячьи спускаются с голого склона, прячутся в лесу.

— Пап, а это собакины следы? — спрашиваю я.

— Эти, точечками? Лисьи. Кумушка лиса охотилась.

— Она кумушка?

— Кумушка, — подтверждает отец. — Она любит в кумушки рядиться. К волку в кумушки идёт, чтобы он заступался за неё, а к зайцу — чтобы деток его поест.

— А к медведю тоже? — спрашиваю я.

— И к медведю, — отвечает отец. — Чтобы подарки ей носил. А барсук её в нору от собак пускает.

— Вот хитрая какая! — удивляюсь я.

— Хитрая, — подтверждает отец. — У неё и следок такой, как будто на одной ножке пропрыгала.

В лесу закричала сорока, поднялась над дубами и полетела, а за ней появилась другая.

— Ох, сплетницы, — говорит отец, подслушали наш разговор и понесли дальше.

Я слышал не раз, говорят: «Сорока на хвосте принесла — и верить этому?» Спрашиваю у отца:

— А кому они понесли?

— Зверям, птицам, а то и человек какой встретится, и ему натрещат, что лиса на одной ноге прыгает. Не разберутся эти сороки, о чём речь, вечно спешат, не слушают...

Из леса выскакивает заяц. Я не успеваю понять, испугался я его или не испугался, а отец уже кричит на него: «Держи, держи косога!» Заяц хотел перебежать нам дорогу, но вернулся в лес и скрылся в заснеженных ветках.

— Пап, почему все пугают зайцев? — спросил я.

— Чтобы он побегал, — отвечает отец. — А то замёрзнет. И чтобы боялся всех, а то на него много охотников: и люди, и птицы, и звери.

Впереди на безлесном склоне показался зверь. Я обернулся к отцу, показал ему на зверя.

— А это она, кумушка наша, — говорит отец. — Не слышит и не видит нас. Сейчас мы её.

Отец свистит. Лиса мгновенно исчезает за бугром.

— Видал, как она метнулась? Проворная!

— А её зачем пугают? — спрашиваю я.

— Затем, чтобы к деревне близко не подходила, кур не таскала.

По склону сходят большие следы. Я знаю, что это не собачьи, такие следы бывают только у волков, но спрашиваю:

— Пап, тут собака бежала?

— Где? Вот это? Тпру! — Отец сходит с саней, смотрит следы. — Волки прошли, — говорит он мне. — Видно, вечером или ночью проследовали.

— А они в нашем лесу или нет? — спрашиваю я шёпотом.

— Нет их в лесу, — говорит отец. — В нашем лесу им нечего делать. Какой это лес — снизу до опушки светится.

— А зачем они прибежали?

— Смотрели, нет ли тут чего лишнего. Бывает, поросёнка в мешке потеряют. — Отец улыбается. — Лошадь истратится на работе, падёт, бросят её в овраг — они и лошадь в дело, чтобы весной от неё вода с воздухом не грязнились.

— А если нигде ничего не найдут?

— Тогда они в деревню бегут и проверяют, у кого ворота неплотно закрыты.

— Тоже хитрые, — говорю я.

— Хитрые. У каждого зверя своя хитрость, — поясняет отец. — Ну, кажется, надо сворачивать в лес. Пролезем ли? Снегу много.

Он берётся за вожжи, направляет лошадь на лесной склон. Сани поднимаются в гору — надо держаться за санные грядки, чтобы не скатиться в снег. Дугой заденем дубовый сук, и лошадь скрывается от меня за снегом, и сани как будто въезжают на склон по щучьему велению. Мне снегом осыпает лицо, слепит. Отец вдруг рукой клонит меня к себе и прижимает в сани.

— Приехали. Давай грузиться.

Я поднимаю голову. Лошадь стоит у куста. Отец обминает перед ней снег, чтобы положить ей сена. Рядом с санями снежная куча, словно большая муравьиная кочка.

— Пап, а где дрова? — спрашиваю я.

— А вот под снегом-то. Не видишь? Сейчас раскопаем. .. Надо бы пораньше выбраться, по первопутку, да лошадь не добиться было.

— Почему они не дают — лошадей много? — спрашиваю я.

— И работы много. Да ничего, справимся, привезём. Ты в снег не слезай — утонешь, — предупреждает отец. — На возу у меня будешь.

Он кладёт лошади сена, покрывает её своей свитой, обтаптывает снег у дровяной кучи и верхним поленом

сворачивает с дров снеговую шапку. Дрова в куче сухие, кажется, что они тёплые. Мы накладываем большой воз и едем домой.

В лесу стемнело. Мне страшно, и я прижимаюсь к отцу и слушаю скрип снега под санями, не разговариваю, чтобы волки не слышали, а то они ещё и на сани вспрыгнут.

В небе загораются звёзды. У дома они кажутся ниже, а над балкой светятся высоко-высоко. Мне хочется спрашивать обо всём у отца, но я молчу. А отец только с лошастью говорит, когда она тише идёт, понукает её. Я думаю, что ночью все молчат, потому что разговаривать темно.

В деревне в избах горят огни. Мать с сестрёнкой встречают нас у горы. Сестрёнку сажают со мной, а отец с матерью помогают лошади. Я шёпотом рассказываю, кого мы видели в лесу. Сестрёнка боится и прижимается ко мне, ни о чём не спрашивает даже шёпотом.

ВОЛКИ

Кто-то сказал, что к деревне подошли волки и не уходят. Отец говорит:

— А ну, ребята, собирайся, пошли.

Мы одеваемся. В ушах стоит гуд: «Волки! Волки! Волки!» Как страшно! Хочется не пойти, остаться с матерью и сестрёнкой дома, залезть на печку и спать, но все мужики пойдут и ребята пойдут — мне тоже надо идти.

— Надо же, — дивится мать, — к деревне пришли. Такого никогда не было. Пробежали стороной, а чтобы к деревне — и не припомню. Ты там навоз выкидывал — хорошо окно-то закрыл? — спрашивает она вдруг у отца.

— Вроде хорошо, — неуверенно отвечает отец. — Сейчас выйдем, посмотрим.

— А там с проулка сугроб-то у нас наравне с крышей — не раскопали вы его, — подходит волк — и прямо на крышу, — говорит мать.

— Там промежуток большой, — утешает отец мать. — Не решится он прыгать.

— Это ты так думаешь, — стоит на своём мать, — а волк по-своему сделает.

— Возьмём, сын, лопатку, копнём, — говорит отец и зажигает фонарь.

В хлеву от фонаря проносятся тени. Овцы лежат, корова стоит, пережёвывает сено. Днём она глотает сено нежёванное, а ночью пережёвывает.

— Окно закрыто, — говорит отец. — Тут и корова стоит, волк побоится лезть.

В сенях отец берёт лопату — выходит в проулок.

— Куда ему тут прыгать! — произносит отец и втыкает в сугроб лопату. — Пойдём поглядим, где они там, волки.

В деревне почти все не спят. Слышатся мужские и ребячьи голоса. С фонарями люди идут на край деревни.

— Вон они, вон! — кричит кто-то.

— Ба-бах! — тоже крик чей-то.

Впереди идёт брат, я следую за ним, сзади нас шагает отец с фонарём. Он говорит:

— Хоть бы одно ружьё было на всю деревню. Сейчас стрельнуть — ни одного не нашёл бы.

— А почему у нас никто не купит ружьё? — спрашивает брат.

— Охотников у нас нет, не повелись, — отвечает отец. — И ружья дорогие... Потом к ружью собаку надо заводить.

У крайней избы много народу. Все толпятся на косогоре, переговариваются. Светится несколько фонарей. За оврагом темно, глухо, словно там чужое поле. Кто-то кричит: «Улю-лю их!»

— Что тут? — спрашивает отец, остановившись, у толпы.

— Волки. Гляди туда — глазами сверкают, — говорят отцу.

— И пусть сверкают, — отвечает отец. — Шум-то зачем поднимать?

— Они на деревню придут, если на них не шуметь.

— Солому зажечь надо, — говорит отец.

Парни вызываются пойти на волков. Они с железными костылями и крюками, какими выдёргивают из омётов солому.

— Смотрите — накинутся.

— Мы им накинёмся.

— Герои какие!

— Не попадались в волчью пасть...

Парни скрываются во тьме. Я держусь за отцовскую шубу, смотрю в поле. Там что-то сверкнуло и исчезло.

— Были ближе, — сказал кто-то.

— Отбежали, испугались.

— Их, поди, и не было.

— А вон, вон они! — закричали вдруг многие.

— Как глазищами сверкают — прямо автомобиль! Долго толкуются все на одном месте, говорят кто о чём.

Парни не возвращаются. Кто-то далеко увидел сверканье волчьих глаз.

— А что же ребят долго нет? — спохватывается кто-то.

— Придут ребята, никуда не денутся. Их зовут, но ответа нет. Слышится рассказ:

— Один мужик ночью на волков охотился. И с чем, думаете? С дубинкой. Видит — волк сидит, воет; подкрадывается мужик сзади, хватил по голове — волк и растянулся тут же...

— Не слышит, что ли, он?

— Когда воет — на хвост ему наступай... А другой искал спящего волка. На ухо ему ка-ак крикнет! Всккивает волк, а через три сажени мёртвый — разрыв сердца...

— Да, хитёр тоже был охотник! — восхищаются мужики.

— Мужик, он чего не придумает!

— И смелость тоже нужна. Меня золотом осыпай — шагу от деревни не шагну ночью.

— О таком тут и речи нет...

Слышится разговор парней. Они подходят и говорят, что ничего не видно, зря снег меряли.

Мужики расходятся. Я не отстаю от отца. Брат остаётся с парнями.

— Пап, а почему ты не боишься волков? — спрашиваю я шёпотом.

— Говори-громче, не слышу.

— А ты боишься волков?

— Чего их бояться? — спрашивает отец. — Человеку ничего не надо бояться, а то все одолевать его будут. Труса и воробы заклюют.

Фонарь отец погасил. Я не держусь за отцовскую шубу, иду впереди. Ночь, кажется, стала светлее. В избах гаснут огни, все ложатся спать, а нас ещё ждут, окна светятся ярко.

ОТТЕПЕЛЬ

Вечером повалил мокрый снег. Кататься на салазках неохота: они плохо катятся с горы, да и на лицо липнет снег. Я иду домой.

— Отыскался? — спрашивает мать. — Думала, не придёшь. Липучка повалила — глаз не открыть. Схватила, а дрова в снегу, перемокли.

С улицы окна залепило мокрым снегом. И стёкла стали вдруг оттаивать, поползла с них вниз наморозь, открылась улица. Новый снег собирался на стёклах шапками, подтаивал и спадал на подоконник. Отец пришёл весь перемокший, сказал:

— Видать, потеплеет. Снег с дождём пополам.

— Пора зиме отпустить, — ответила мать. — Февраль завтра на убыль пойдёт.

— В феврале самый снег должен быть, — сказал отец.

— По-разному бывает. Год на год не находит. Утром в избе светло. Окна талые. На улице солнца нет, пасмурно и ветрено. Ветер тёплый, весенний. От сада тоже пахнет весной. Вороны каркают и каркают. Воробы весёлые, гнёзда ищут.

Иду в сад. Давно не был там. Смотрю и не могу понять, куда девались сугробы. Были недавно ещё высокие-высокие, а теперь низкие стали. Ямы под яблонями тоже неглубокие. У вишен снег проваливается. И скучно как-то вокруг. Смотрю на сирень, а на ней почки зелёные-зелёные, словно распускаться решили. Птица летит над садом. Показалось, грач. Смотрю: он садится на берёзку и каркает — ворона, почернела от тёплого ветра.

С крыши капли падают, пробивают в снегу глубокие ямки. Совсем-на весну похоже. Радостно, что весна наступает. Весной у избы сугробы раскидывают, чтобы снег скорее потаял. Беру лопату, ковыряю снег. Он стал крупинками, отсырел.

Вижу, на выгоне что-то чёрное лежит. Надо сходить, посмотреть, вдруг зимой что-нибудь потеряли, найду. Подхожу — лежит палочка вытаявшая. К весне всё выбирается из снега на солнышко греться...

Подержалась оттепель, потом развеселилась метель.

— Вот вам и февраль — корове рог сорвал, — вспоминает мать пословицу. — А то думали весна пришла. Февраль всегда своё возьмёт. Ещё и в марток наденешь двое порток, — напоминает мать и о непогожем марте.

Отец возражает:

— Однако с февраля цыган с себя шубу продаёт...

БУРАН

К утру разыгрался буран. Из-за снега ничего не видно. Шумит над избами и деревьями, словно вверху сказочный океан. Снег несёт верхом, гонит низом, закручивает, забивает в каждую щель. Не слышно ни ворон, ни сорок. Но где-то у избы находится затишье, где прячутся воробы. А снег проникает и в затишье, там он мелкий, словно мучная пыль на мельнице, и воробы белеют от снега.

В школу никто не пошёл. Дорогу не видать, можно заблудиться, замёрзнуть. Никто никуда не выезжает, лишь закутанные в шали бабы и девки с трудом, как будто нехотя, пробираются за водой к колодцу. От-скрипят, отзвенят вёдра — и снова лишь буран над миром.

Шумит и воев в трубе, слышен свист в деревьях. Кажется, давно поднята в воздух изба и летит над землёй с большой скоростью. Сидеть при такой погоде дома уныло и утомительно, начинает думаться, что ты давно уже не катался, что горы теперь стали такими, что ты их и не узнаешь. Надо тайком одеться и выскользнуть за дверь. И вот ты уже на пороге. Как удачно это получилось — никто не заметил твоего ухода.

В сенях к стенке привалены салазки. Изба окружена сугробом. Верх сугроба косицей. Почти от порога можно катиться к пруду. Но трудно взобраться на сугроб. А салазки и не катятся: снег топкий, неслежавшийся. Не катятся салазки — и не беда. Салазки можно волочить по снегу, разрезать его, словно кораблём воду. Салазки — корабль, ты — капитан. И кажется тебе, что нет бурана, что сейчас появится на улице ещё кто-то. Ты плывёшь от избы к избе, проплываешь по всей деревне. Никого нет, никто не вышел. Гора за деревней кажется низкой, с неё и салазки не покатыются.

Никто не вышел в буран из дома. Тебе так обидно, что ты один. Кажется снова, что усилился ветер, больше погнало снега, быстро вечереет. Ты возвращаешься домой. Теперь салазки не корабль, а ты не капитан. Ты окунулся в бездну бурана, теперь тебе надо вылезти из него, победить его.

Как трудно одолевать буран! Но ты побеждаешь его и в вознаграждение скатываешься к порогу своей избы с сугроба. И снова привалены к стене салазки. Идти некуда. В избе уже теплится свет, но и в избу возвращаться не хочется. В шуме бурана, кажется, должно появиться что-то необычное, неслыханное, но вечер загоняет в дом.

Отворяешь дверь,ходишь в избу и слышишь: — Головушка буйная, ай ты на улице был? А мы-то думали, ты

заснул! Когда тебя угораздило в такую непогоду. .. В снегу весь, замёрз...

ЗАБЛУДИЛСЯ

Непогода на улице. Рано стемнело. Дальние поля обложило мраком. В избе зажгли лампу — и от света за окнами стало темнее, как будто легла ночь. В чёрных оконных стёклах поблёскивает отражение лампы и видятся лица сидящих перед окном. Ветер шумит и шумит. Ракита скрипит: её сучья трутся один о другой. Скучно слушать этот скрип. Тяжело, наверно, и ракитке от этого скрипа. Мне хочется выйти и посмотреть, где скрипит, но уже не выйти, поздно, не пустят.

Отец с матерью разговаривают, но скорее нам рассказывают, как жили да росли они в прежние времена: то отец говорит, то мать перенимает речь. Как интересно их слушать. Их жизнь не похожа на нашу. Мне кажется, что они жили, как в далёкой сказке. Хочется перенестись в их прошлую жизнь, но туда уже не попасть, и тянет на печь.

С печи слышится родительская речь, и слышно через потолок, как гуляет по крыше снежный ветер и воет в трубе. На улице страшно, холодно, а на печи тепло и ничто не пугает. Лежишь животом на горячих кирпичках, руки под подбородком в ладошках, ноги подняты вверх, болтаются, пытаешься достать пятками до спины.

Мать вяжет вязанки, отец плетёт лапоть, брат пишет. Мне кажется, ему не хочется учиться, он завидует мне, что я не сижу над уроками. Я вспоминаю осень. Вместе с ним я отправился первого сентября в школу, сел за парту, по сидел и ушёл. Там все стали вспоминать, а у меня не было ни карандаша, ни бумаги.

Слова матери и отца чередуются и реже доносятся до меня, как будто играют со мной в прятки, и вдруг исчезают совсем... Ночью меня будит отдалённый стук. Открываются глаза. В избе тьма. Через визги, вой, скрипы непогоды доносится стук. И вдруг голос матери:

— Отец, кого-то там домовой принёс. Расстучался — дня не хватает.

Отец отворяет дверь, кричит:

— О-ой! Сейчас, сейчас!

Гремит клин на двери. Ветер врывается в сени. Всё холодное: и гром задвижки, и скрип намёрзшей двери, и голоса отца и ночного гостя.

— Тётъ, какая деревня? — кричит стучавшийся.

— Я не тётъ, я дядь, — отвечает отец.

— Пускай дядь. Какая деревня?

— Какую тебе надо? — спрашивает отец.

— Каменку! — Голос как будто знакомый.

— А сам чей?

— Сам каменский.

— А чей ты там, кто?

— Серёга, Ефремов! — кричит тот. — Мне переночевать, лошадь поставить... Заблудился.

Отец смеётся, говорит:

— Сосед, да это Каменка и есть. Слева твоя изба. А где лошадь-то?

— Тут рядом. На плетень наехала: ни взад ни вперёд. А это ты, Данила? — кричит сосед. — Теперь сообразил, а то заблудился — не узнать. Ну, спасибо тебе!

— За что спасибо? Из плетня-то выберешься? А то соберусь — помогу? — Отец смеётся, снова задвигает железный клин, входит в избу, ахает от мороза и рассказывает о заблудившемся соседе.

А на улице по-прежнему тянется непогожая зимняя ночь. О, какая она долгая! Нет конца её шуму, происшествиям, сыпучему снегу. И вдруг далеко кричит петух. Узнаю — наш, в хлеву на насесте, но кажется, где-то на краю земли.

Говорят, когда заблудится в непогоду человек, то поют петухи. Сейчас они опоздали петь: дядя Серёга доехал. А может быть, и ещё кто-то блуждает, не доехал до своего дома? Кто знает — на улице ночь и такая страшная непогода, что и на печке жутко.

— Папа, а можно такой фонарь зажечь на улице, чтобы всем видно было, куда ехать?

— Можно. На морях и океанах горят такие фонари, маяками называются. А у нас тут на земле без маяка примет много и деревня от деревни близко, лошадь без фонаря дорогу найдёт, если её не сбивать с пути.

— Она видит ночью?

— Наверное, видит и чувствует дорогу.

— Папа, а ещё кто-нибудь блуждает?

— Теперь уже нет. Ночь давно. Все по избам спят. И нам пора — спи.

Все спят, а мне не спится. Я долго брожу по полям и спасаю из бурана всех, кто сбился с дороги...

СУГРОБЫ

Буран с позёмками набивает сугробы. Зачистит снег с полей, сгонит в сады, в овраги, набьёт под опушками леса. Лес у нас по склону оврага. Взойдётся на сугроб — ты вровень с деревьями, словно великан стоишь.

Сугробы твёрдые. Идётся — под ногами гудит, а то вдруг шумнёт и дрогнет под ногами. Это снег осел.

Мело с огородов, и в саду сугроб до крыши хлева. От молодых яблонь лишь макушки выступают, словно сажены торчат. Сучки молодые, свежие. Пойдёт проголодавшийся за непогоду заяц кормиться, всё до веточки обгрызёт, каждый сучок ошкурит. Весной яблоням цвести, а они без почек останутся.

Беру лопату и принимаюсь за работу: окапываю яблони. Снег плотный, режется с трудом, а отламывается большими глыбами. Берёшься за такую глыбу и вываливаешь её из снежной ямы. Ты её наверх, а она тебя вниз сваливает. И хочется разбить её на мелкие комья, но так не интересно. На огромную глыбу посмотрят и ахнут.

Скажут:

— Вот это мальчик! Какой силач!

Переворачиваешь глыбу и так и этак. От работы жарко. Варезки промокли, но рукам не холодно: всё тело горит, не чувствуется зимы. И вдруг глыба переваливается за край ямы — выбираюсь наверх и ставлю её стоймя, чтобы зайцы пугались...

Забывается обед. Брат давно вернулся из школы, сделал уроки и вышел в сад. Он находит меня в яме, говорит:

— Окапываешь? Молодец! Вылезай. Эту хватит. Давай другую окапывать.

Он помогает мне выбраться из ямы, посылает за второй лопатой, а сам остаётся в саду.

— О, явился! — удивляется мать. — Обедать звали-звали — не дозволись. Опять весь в снегу...

— Я в саду был, яблоньки окапывал от зайцев, — говорю матери.

— Ай, правда? Ну, тогда что ж, молодец. Есть, наверно, хочешь?

— Нет, не хочу. Опять пойду, за лопаткой пришёл.

— Ну, ты хоть хлеба возьми, — настаивает мать. — Погоди, отрежу ломотик, посолю.

Зимой солёный хлеб на улице вкуснее всего на свете.

Я съедаю ломоть и приступаю к работе. С братом дело спорится. И когда вечером в саду появляется отец и дивится нашей работе, остаётся окопать лишь одну яблоню, последнюю. Её мы окапываем уже троём. Отец с братом работают лопатами, а я стою над ямой и смотрю на них сверху... Быстро темнеет, кажется, ветки яблонь начинают о чём-то шептаться. Наверное, они шепчутся обо мне, радуются, что я спас их от зайцев, раскопал сугроб.

МОРОЗЫ

Снег лёг на поля глубокий, скрыл комья, сровнял рубезочки и межи. Он валил несколько дней подряд, напал всюду и вдруг остановился. И в первое белоснежное погожее утро открылось голубое и высокое-высокое небо с солнцем, похожее на море. Я не видал моря, но оно мне кажется таким, как небо.

Снег ещё не осел, пышный и топкий, без наста, ходить по нему бояться: глубоко — не пролезть. От дома следы только к дороге и к колодцу. Дорогу уже пробили, промяли: проехал кто-то, и прошли люди за водой и в колхозное правление на наряд.

Я иду в сад, утопая в снегу выше колен. Мне кажется, что в саду под яблоньками сидят зайцы. Но в саду нет ничьих следов, не видно никакого зверя, и я выбираюсь к порогу.

Идёт день. Поднимается ввысь солнце, но не высоко, останавливается над садом. С деревьев обваливается снег, и от него под деревьями делаются ямки, словно чьи-то следы. К полдню пригревает, кажется, наступит оттепель — всё растает, будет половодье. Окна в избах талые, тёмные, как в колодце вода. С улицы в избе Ничего не видно.

Но сходит за полдень солнце, с холодной стороны (так называют северную и восточную стороны) тянет ветерок, и на окнах от подоконника вверх вырастают невиданные растения, чаще это листья деревьев из жарких стран. Глядя на них, забываешь, что ты в зимней одежде, что долгие снега легли на землю и не скоро придёт весна.

К вечеру через окно не посмотреть на улицу, всё запушено, надо дышать на стекло, протирать наморозь. В избу входит мать с улицы, произносит, лишь переступив порог:

— Ну и завернуло! Утром носа не высунешь!

Надо посмотреть, как-то там завернуло. И сразу находится дело, выскакиваешь за порог полураздетым, не надолго, на минутку. Солнце низко над горизонтом, опускается величественно в дымку — на мороз. Воздух колючий, перехватывает дыхание. В хлевах ревёт скотина. На пруду начинает рваться лёд, словно молнии от тучи к туче, проносятся от берега к берегу звуки рвущегося льда.

Деревня затихла — и, кажется, долгой-долгой будет зима. Стоять на пороге нельзя, мёрзнешь до костей, срываешься и летишь в избу, на печь. На печи никакой мороз не страшен, пускай его злится.

ИНЕЙ

Каждое дерево, каждый кустик, каждая веточка и былиночка в инее. Иней на бурьяне, на изгородях, на радиоантенне, протянутой от соседней избы, с высокой мачты к берёзке в саду. Иней колючий и хрупкий, а издали кажется пушистым.

Птицы не садятся на деревья, боятся инея.

Солнце осторожно и неслышно поднимается над сверкающими садами. И вдруг с антенны срывается снежная лента, кружится, ломается и хлопьями падает вниз.

Солнечные лучи идут по деревьям, начинается инее-пад, словно мальчишки в осеннем саду трясут яблони. Воздух наполняется сверкающими иголками инея.

Из сеней выходит отец, говорит:

— Иней-то какой! В эту пору иней к урожаю. С хлебом будем. — Он ласково кладёт мне на шапку руку, словно прихлобучивает её: — Ну, я пошёл на работу. Смотри тут, не балуйся.

— Не буду, — отвечаю я и, проводив взглядом отца до косогора, иду в сад трясти деревья, делать «инеевый дождь», пока солнце не весь иней осыпало с веток.

ПО НАСТУ

Морозно, и солнце с утра. Воробьям холодно. Они ищут место, куда достаёт солнце, а ветра нет, затишье, — и

сидят распушённые, как мячики.

На полях от солнца блестит наст, и ветер гонит и гонит тёмные дубовые листья. Одни — скачут, другие — перекатываются, третьи — ползут, словно устали, выбились из сил, — и нет листьям числа, нет остановки.

Я стою в затишье на солнышке, смотрю в поле, и кажется мне, что кто-то выпустил своих собак на охоту, и бегут они, бегут, тычутся носами в заячьи пахучие следы, гонят зайцев. Как много собак! А где ж зайцы?

Зайцы зимой белые, не видны. Хорошо, что они белые, не видны охотникам и их собакам. У нас будет много-много зайцев.

ПОРОША

Была пороша. Пушистым снежком прикрыло наст, омолодило старый снег, сделало его одноцветным. У избы свежий кошачий след. Куда это отправилась кошка? Иду по её следу.

Изба и хлев обложены высоким сугробом, а у стен проход, словно его прорыли. За хлевом кошка выпрыгнула на сугроб. Мне здесь не выбраться. Если бы я тоже мог так прыгать, было бы хорошо, и все завидовали бы мне. С проулка выбираюсь в сад, нахожу кошачьи следы.

Кошка обежала ямы у яблонь, проскочила через ограду в огород. Я прошёл калитку, осмотрелся: в одоньях, где кончаются огороды, а за ними раскинулось большое колхозное поле, — темнеют деревья и кусты и держится туман.

В деревне тихо. Кажется, ещё никто не проснулся, лишь я один вижу такое мягкое утро. Пускай все спят — мне одному лучше. И никого я не боюсь. Один пойду в одонья.

На середине огорода кошачий след пересёк заяц. Мне хочется пойти за зайцем: он пробежал к деревне, к чьим-то садам, но иду дальше, за кошкой.

Оглядываюсь на деревню. Над избами поднимаются столбы дыма. Сороки кричат, каркают вороны. Сады все седые от изморози. В одоньях метнулась кошка и бежит мне навстречу с мышью в зубах. Это наша кошка. Зову её, но она убегает от меня в сторону, не признаёт меня! А дома она такая ласковая! Кошка скрывается в саду. Я долго стою на месте. Мне кажется, что в одоньях теперь нечего делать, не интересно там и скучно...

Я поворачиваюсь и бегу назад, к саду, бегу по своему следу и оглядываюсь на одонья, не гонится ли за мной волк. Но никого нет. Никого нет, а всё равно страшно одному.

ВОРОБЬИНАЯ ОХОТА

Выбежал на улицу. Там метёт позёмка. В проулке в навозе копаются воробьи. Решил поохотиться на них.

— Какие тебе воробьи! — говорит мать. — Там позёмка — белого света не видать. Сиди дома.

Мать всегда заставляет сидеть дома, боится, что меня занесёт позёмка или мороз заморозит.

— Я на вашем месте посиживала бы на печечке, поплёвывала бы в потолок.

Это она говорит так, а попробуй плюнуть в потолок, заругается.

— Да, их там много, в проулке, — говорю я плаксиво, нарочно, конечно.

— Ну, погодите. Сейчас вот уберусь, одену вас. Идите, воробьятничайте, воробьятники.

Мать одевает нас, выпроваживает за порог, потом выносит в проулочек большую плетушку (кормовую, в которой дают корове корм) и учит, как надо устраивать ловушку.

Сестрёнка ходит за мной следом, разговаривает. Я останавливаю её, чтобы воробьи не слышали.

— Они -знают про наш разговор? — шепчет сестрёнка.

— Знают, они хитрые, — шепчу ей в ответ. Сестрёнка кивает головой, закутанной в шаль, и больше ни о чём не заговаривает. Я опрокинул над навозом плетушку, подставил под край колышек, от колышка протянул в сени верёвку.

— Зёрнышек насыпь под плетушку, — советует мать и насыпает из рундука горстку пшена.

Из маленького оконца хорошо видна ловушка. Мы сидим с сестрёнкой на подмостье, терпеливо ждём прилёта воробьев. Они где-то близко, где-то под застрехой прячутся от холода и изредка попискивают. Когда холодно, они не чирикают, а жалуются на холод.

— Не прилетели? — спрашивает сестрёнка.

— Нет ещё, — отвечаю ей шёпотом. — Скоро прилетят. Ветер задувает в оконце, заносит сыпучий снег, мешает смотреть на ловушку. На сугробе растёт косица, и дымится над ней позёмка, словно в сугробе кто-то развёл горнушку. Где-то что-то скрипит, то ли мать села за прялку, то ли ветер скрипит чем-то. Кошка к нам подходит. Воробьи вдруг чирикнули и полетели к соседней избе.

— Прогони кошку, — говорю сестрёнке.

Она отпихивает кошку, а кошка не хочет от неё уходить, ластится, мурлычет. Я прогоняю её и снова смотрю на ловушку. Потихоньку у меня начинает мёрзнуть левая нога. Спрашиваю у сестрёнки:

— Ты не замёрзла?

— Вся замёрзла, — отвечает она и шмыгает носом.

— Иди домой, — говорю я.

— Нет, я не замёрзла. Тут буду. Погляжу, как прилетят. Вдруг над нами на крыше громко зачирикал воробей, прилетел откуда-то. Потом пискнуло ещё несколько. Я толкнул сестрёнку, чтобы не шевелилась. Она толкнула меня в отместку.

Воробей садится на плетушку, засматривает вниз, рядом садится второй, слетает третий. Я крепко держу в руке верёвку. Сейчас они залетят под плетушку, я выдерну колышек, и всех их накроет — мои будут. Скрипит дверь. Воробьи поднимаются на крышу.

— Поймали кого-нибудь? — спрашивает мать и говорит: — Только себя зря морозите. Ай они дураки — в ловушку залезать. Не видят, что ль, хитрость вашу.

— Да, ты спугнула, — говорю я.

— Ну, да я вроде тихо выходила. Ах, домовой их возьми! Надо ж, чуткие какие! Ну, больше не буду выходить, — обещает мать. — А вы погрейтесь, пока они осмелеют. И есть уж небось захотели.

Сестрёнка сползает с подмостья, за ней снимаюсь и я...

Как ни старался я бесшумно отворить дверь, она скрипнула всё же, да так скрипнула, что мне показалось, крыша с избы съехала. Но воробьи не встревожились. Только когда взобрался я на прежнее место, посмотрел на плетушку — один за одним из-под неё полетели воробьи. Дёргаю верёвку, шумно выбегаю в проулок, смотрю через дырочки и вижу воробья. Сидит он, прижавшись испуганно к краю плетушки, смотрит на меня. «Сейчас мой будешь», — думаю я и говорю радостно:

— Что, попался? Иди-ка ко мне.

Я поднимаю край плетушки, тянусь к воробью. Он вспорхнул вверх, а лишь я поднял край плетушки выше — порхнул мимо руки и, тревожно крича, через хлев улетел к саду. И остальные воробьи улетели за ним вдогонку.

С жалким видом вхожу в избу и говорю, что упустил одного. Мать успокаивает:

— А то его поймаешь. Наши ребята, бывало (ребята — её братья), мешком ловили. Мешок на рогатульку привяжут — и по гнёздам. Много налавливали. Принесут да напустят в избу — сколько шуму от них...

— А потом куда девали? — спрашиваю я. Мать задумывается и отвечает:

— Опять выпускали. Куда ж их денешь? Какой от воробья толк.

Я снова сижу у оконца, но воробьи больше не прилетают. Приходит отец и отбирает плетушку — надо идти за пруд, к оме́ту, за соломой.

А ночью мне снятся воробьи. Все они одеты, как и я, по-зимнему, ходят вокруг ловушки, заглядывают в неё. Я отпихиваю их и объясняю, что они могут попасться мальчишкам в руки, что внесут их потом в избу, пустят, а там кошка сцапает, задушит или хвост выщипает. Они меня не слушаются, всё равно суют любопытные носы за пшеном. Я переворачиваю плетушку, вскатываю её на сугроб и пускаю под гору. Она катится вниз, кружится на льду пруда и проваливается под лёд. Мне становится легко и радостно, что воробьи, мои друзья, избавлены от опасности. Я проснулся. Было новое утро. Мать говорит мне, что я всю ночь кричал на кого-то «не лезь» да «не суйся».

— Это я на воробьев.

— И во сне ловил их? — спрашивает мать.

— Нет. Я их спасал. Они были как все ребята, дружили со мной. Я не буду их больше ловить.

— Это хорошо. Птичку обижать не следует, — одобряет мать. — Работу другую можно придумать, полезную...

ПРАЗДНИЧНЫЙ ОБЕД

Отец с матерью уехали на колхозное собрание в Глотова. Нас оставили сидеть дома, караулить всё — и покататься не позволили. Мать сказала, когда отец подошёл к дому подводу:

— Уйдёте, руки отморозите, а потом и дверь в избу не откроете, и сами в сенцах замёрзнете.

Мы поверили, что можем дверь правда не отворить, в сенцах зачоченеем.

Вся деревня уехала на собрание. Одни маленькие остались да бабки, у кого они были. Я насчитал десять саней с народом, а сестрёнка — пять. Она ещё учится считать и считает не подряд, а так: «Два, раз, девять, семь, пять». Проводили мы всех и ушли в избу.

Совсем неинтересно сидеть в избе. Никого нет, и скучно-скучно, — плакать хочется. Как будто все тебя бросили и забыли, а там на горе ребята катаются и каждый день будут кататься, а ты давно не выходил за порог, всё сидишь и сидишь в избе и никогда не выйдешь из неё.

Окна заморожены. Хорошо, что ещё солнце на улице, в избе светло. Я нахожу на окне протаявший косячок, смотрю на улицу. Там никого не видно. Долго никто не показывается, потом сорока пролетела к порогу, села и что-то унесла в клюве. Опять никого не видно. Вдруг ворона села на ракирку, покачалась на ветке и улетела, кого-то испугалась, кто-то должен пройти. Сенная дверь закрыта на задвижку, но всё равно жутко.

Кто-то прошёл, прошумел у самой стены, под окнами, но не было видно, кто прошёл и застучал в дверь. Я обрадовался. Это были ребята, они стучались, как я: ногой. Размахнётся — стукнет, размахнётся — стукнет.

Выбегаю в сени, кричу:

— Кто?

— Я, — слышится за дверью.

— И я тоже, — отзывается девчоночий голос.

Открываю дверь, впускаю гостей. Это двоюродные наши, брат и сестра. Сестра ровесница моей сестрёнке, а брат меньше меня.

— Кататься пойдём? — спрашивает брат, переваливаясь через порог в избу. — Нас бабка прогнала.

— А нас не пускают, — говорю я. — Нам дома велели сидеть.

— А-а, — протягивает он.

— Давайте у нас играть, — заманиваю я их.

— А во что?

— В чего-нибудь, — отвечаю я и умоляю: — Давайте, а? Сестра уже разделась, брат тоже снимает шубёнку, сваливает на кровать. Моя сестрёнка просит поесть.

— Давайте в праздник играть? — спрашиваю я. Все соглашаются играть в праздник.

В печи нам была оставлена картофельная драчёна и похлёбка в миске. Но мы готовим особый обед, праздничный. Под кроватью, в тёмном углу стоит плетушка с луком. Я выдвигаю лук на свет, роюсь, выбираю проросшие головки. Их много. Перья зелёные и белые, изогнутые, как косицы у петуха на хвосте. Потом я всем черпаю в кружки квасу, достаю из печки очищенную и обжаренную целую картошку, нарезаю хлеба, а они чистят лук и раскладывают на каждого.

Труднее всего резать хлеб. Он испечён четыре дня назад, чёрствый стал. У меня мало силёнок нажимать на нож, а нож не слушается: то лезет во всю ковригу, то крошит корочку, то застревает в горбушке. Но всё же принаравливаюсь и нарезаю всем горбушек, ещё их зовут корябками. Корябки вкуснее мякиша.

И вот мы справляем праздник. Никто не захотел угощать, быть хозяином, и мы все гости. Мы макаем в соль картошку, лук, хлеб у каждого посолен — и едим, кусаем хлеб, кусаем лук, кусаем картошку и запиваем квасом. О, как вкусно! Настоящий праздник!

Кончается лук — и снова выдвигается плетушка из-под кровати, снова режется хлеб, отрезаются корябки, добавляется квас и картошка. И опять продолжается праздник. Название мы ему не придумали, но это наш праздник, самый-самый хороший. Длится праздник долго.

А когда возвращаются с собрания, мать входит в избу и ахает:

— О, головушка моя, что ж они на столе-то наделали! Крошек-то, хоть свинью пускай подбирать! Лук чистили — за собой не убрали. Соли полпуда рассыпали... Оставь их в другой раз дома...

Вечером отец берёт ковригу, смотрит на неё и говорит:

— Мать, погляди, что они тут наковыряли. Теперь и не поймёшь, с какого края резать. Всю деревню накормили? — спрашивает отец с улыбкой. — Тогда им сейчас хлеба не надо давать? — отец глядит на мать.

— Да ладно, отрежь, — говорит мать. — Они в другой раз не будут так кромсать ковригу.

— Не будете? — спрашивает отец, взглянув на меня и на сестрёнку.

— Не будем, — в один голос отвечаем мы и облегчённо вздыхаем.

Я думал, что будут больше ругать, а так ничего. Не испорчен праздник.

ЛИПОВЫЕ ПОЧКИ

С утра катались на салазках с гор. Надоест одна гора, уходим на новую. Так и дошли до колхозного сада. Сад тёмный, таинственный. И мы почему-то разговариваем шёпотом, как будто боимся кого-то спугнуть. Сад окружён канавой. Большие деревья растут на канаве, а от больших деревьев разрослись отростки. Под садом большая гора, но мы не катимся с неё, останавливаемся у липовых кустов и, словно зайцы, обгрызаем липовые почки.

Какие вкусные почки! Нас трое, но мы не замечаем друг друга и забыли, что надо возвращаться домой обедать. Зимой дни короткие, а тоже все обедают.

На старых липах висят семена, их тоже можно есть, но нам не взобраться на липу: высоко очень и мешает зимняя одежда. Едим почки.

Слышу шёпот. Где-то кто-то бежит, на нас бежит. Смотрю в поле: чёрный и большой на белом снегу. «Волк!» Страшно стало — и все замерли. Овсянки пролетели к деревне.

— Крикнуть если? Волки боятся людей. А мы не люди. Нас он не испугается.

Дружно кричим. Испугался, убегает, но это не волк, заяц. Заяц пускай бы подбежал к нам, ел бы с нами липовые почки. Зайца мы не побоялись бы.

Вкусные были липовые почки, но мы уходим домой. В саду темнеет. Вот и зайцы уже бегать стали.

— Пойдём завтра опять есть почки?

— Пойдём.

— А зайцы больше кору гложут. Они, наверно, не знают, что почки вкусные.

ТОЧНЫЙ СЧЁТ

Прилетят жаворонки, и весна начнётся. Зима надоела. На салазках не катаются. Ходил на пруд с лопаткой, смотрел, не появилась ли там под снегом вода. Снег на пруду глубокий, а под снегом лёд тёмный. Зимой он был зелёный, а теперь стал тёмный. Дома спрашиваю у матери:

— Мам, когда жаворонки прилетят? Я хочу их встречать.

— Считаю, когда. Февраль, почесть, прошёл, а они на двадцать второе марта прилетают. Сними численник, посчитаем.

Мать перекидывает листки календаря, шепчет: «Один день, два, три...» Я слежу за её руками, чтобы не захватилось разом несколько листков, считаю тоже, но сбиваюсь, потому что показалось, сразу два листка перевернулись.

— Да не может быть, — говорит мать и спрашивает: — Сколько насчитали-то, семнадцать или восемнадцать? Сбил ты меня.

— Не то семнадцать, не то восемнадцать. — Я тоже забыл счёт.

— Ну, счетоводы мы с тобой! Давай сначала считать. Мать считает дни одна, счёт ведёт громко. Останавливается вдруг и говорит:

— О, какая тут страсть нарисована! Кто ж это?

Она по буквам читает подпись под картинкой. Прочитала и спрашивает:

— А сколько ж я насчитала-то? Придётся опять снова считать.

В сенях вдруг загремело. Мать прерывается, говорит:

— Сынок, посмотри, кто там.

Отворяю дверь: овцы в сенях вылизывают миску из-под куриного корма, кричу:

— Овцы выскочили, овцы!

Мать бросает календарь, выбегает за овцами. Они ударились вдоль деревни.

— Домовые, весну почуяли, — говорит мать, — так и рвутся на улицу. Не удержать в закутке. Придётся одеваться, идти ворочать.

Мать уходит, а я сажусь за стол и считаю сам. Двадцать четыре дня до прилёта жаворонков. Если не считать этот

день, то двадцать три остаётся, а ещё можно откинуть один день, то двадцать два будет. А лучше четыре дня не считать — четыре дня скоро пройдут — пусть будет двадцать дней, ровно чтобы было.

Когда возвращается мать, говорю ей:

— Мам, двадцать дней осталось. Через двадцать дней жаворонки прилетят, весна начнётся.

— Сосчитал? — спрашивает мать.

— Да. Ты ушла, а я считал.

— Ну, да что-то мало насчитал-то, — сомневается мать. — Ещё два дня февраля до марта, там сколько. Небось сбился, поди, в счёте.

— Нет, мам, точно считал.

Мне очень не хочется, чтобы она отыскала отброшенные мной четыре дня и прибавила их к зиме. Хватит ей, зиме, и двадцати дней, вон она как долго была. Мать улыбается, говорит:

— Ну, двадцать так двадцать. Скорее бы и эти проходили. Скотина и то затомилась в закутках.

СКАЗКА ПРО ЧЁРНЫХ КОТЯТ

Мой отец был очень весёлым и радостным человеком. Однажды он пришёл на завтрак, заставил меня слезть с печки, сказал:

— Какое чудо-то я увидел в риге. Беру корм, а из одного придела в другой перебегают котята. Чёрные — чернее ночи! Откуда им, думаю? А потом кошка серая вышла. Малахина, оказывается, кошка, как бросили её, перешла жить в ригу, где мышья много. Там и котят себе завела. Собирайся быстро, пойдём попробуем их поймать. Поди, холодно им в риге.

— Да, а как я обуюсь? — спросил я.

— Как-нибудь вместе справимся, — успокоил меня отец. — Позавтракаем только сначала.

После завтрака отец взял мои лапти, подавил их большим пальцем и сказал:

— Ещё крепкие, не сносились. Давай их к делу настраивать. Неси твои онучи.

Обуваться я сам ещё не научился. Если я брался наворачивать на ногу онучу, то нога моя получалась семивёрстной, не влезала в лапоть. Да и лапоть я надевал задом наперёд, запутывался в верёвках и поднимал тогда рёв. Чаще всех обувала меня мать. Она очень быстро обвёртывала онучей ногу, сверху наматывала ряднушку, надевала лапоть и перекрещивала ногу до колена верёвками. Отец обувал меня медленно, с примеркой да присказками, учил, как надо обуваться самому. Обувал красиво и удобно.

Мать повязала мне на голову поверх шапки старую шаль, надела на руки двойные вязанки и закрыла шалью рот. Я спросил у отца, куда мы денем потом котят, но он не расслышал моей речи, снял с меня шаль и сказал:

— Не маленький. Под шапку платок подвязать — не замёрзнет. Да и на улице отпустило. По тепло и котят, глядишь, не поймать будет.

Я переполз через пороги, выбрался на улицу, где была зима. Мороз стоял лютый, но с горы, где катались большие ребята, неслись крики и визги. Мне тоже захотелось на гору, но я ещё не одолевал затаскивать на неё салазки, а брат отказывался меня опекать, потому что я мешал ему.

Берёзки, ракички, осинки и наш тополь стояли разнаряженными в белый иней. Самыми красивыми, как я решил, были наши деревья.

Вышел на улицу и отец.

— Ну, пойдём. Не отморозишь нос по такому морозу? — спросил он и пошёл к дороге.

У меня уже растаяло под носом, я шмыгнул им и ответил:

— Не отморожу. Не холодно.

Отец пошёл впереди. Я видел только его ноги и дорогу, торопился за ним. На горюшке над прудом, где были скользкие санные раскаты, я поскользнулся. Меня бросило отцу под ноги. Он упал и придавил меня. Я испугался и не смел пикнуть. О снег я царапнулся носом, но не заплакал — пустишь слезу, отправишься домой на печку.

— Раскованные мы с тобой, — сказал отец. — Надо нам к Алексеичу в кузницу съездить, подковаться.

Он поднял меня, поставил на ноги, взял за воротник шубы, но тут же отпустил.

— Ничего, цел, — сказал он. — Я тоже в твоём возрасте падал. Иди вперёд, видней дорога будет.

— Ага, — ответил я и зашагал под гору.

Из пруда вытекала вода и звенела подо льдом, словно волшебные колокольчики. Я остановился и послушал. Отец тоже постоял над ручьём. Отец был большой, и мне не верилось, что он когда-нибудь был ростом с меня и падал, как я, и также не умел в лапти обуваться, и сопли у него тоже текли на морозе.

— Пап, а ты ещё будешь маленьким? — спросил я.

— Нет. Я буду только старым, — ответил отец.

— А я не буду старым, — сказал я. — Я подрасту ещё немножко, а старым не хочу быть.

— Ну-ну, оставайся молодым, — одобрил отец и пошёл через плотину пруда к конному двору.

У нас давно был колхоз. Вся деревня вступила в него однажды осенью. Наш отец запряг в телегу Буланку, сложил на телегу бороны, плуг, соху и ещё что-то и отвёз на выгон к общему сараю. Я сидел на подоконнике и смотрел, как отец запрягал, грузил всё, потом привязал за телегу телушку. Мне казалось, что он был рад, спешил, но у него запутались вожжи и он долго не мог их распутать, а потом вдруг рассупонился хомут и дуга завалилась на холку Буланке. Рядом с Буланкой была привязана молодая лошадь. На ней ещё не работали. Она и распрягла Буланку словно не хотела .идти с ней в колхоз.

Отец запряг снова, направил лошадь к дороге. Мать стояла у окна и вытирала платком слёзы.

— Мам, ты не плачь. У нас теперь просторно-просторно будет, — сказал я. — Вон ещё поехали. Все поехали. Все-все.

Теперь мой отец работал на колхозной конюшне конюхом, потому что он очень любил лошадей. Нам с братом его работа тоже нравилась. Мы гордились, что наш отец ухаживает за лошадьми и нас берёт с собой на работу.

Зимой он часто подъезжает к дому на санях, а летом на телеге или верхом. Я всегда выбегаю из дома к лошади, глажу её по мягкому храпу, даю ей травы или сена.

Мы подошли к конюшне. Ворота были уже открыты. Старший конюх, дед Алексан, раньше нас пришёл на работу. Он почти всё время пропадал на конюшне, чистил лошадей, подкармливал, какие послабее, лечил ранки от хомутов и седелок. Он любил лошадей больше всех деревенских и ругал того, кто до пота загонял лошадь, бил её палкой или возил на ней очень тяжёлые возы.

В конюшне под соломенной крышей порхали и чирикали воробьи. Они зимой клевали у лошадей зерно, спасались в тепле от морозов, а летом в крыше делали гнёзда и выводили птенцов.

Дед Алексан успел набросать в проход из денников, где стояли лошади, кучи навоза. Отец позвал его. Он вылез из денника с вилами в руках, поздоровался с отцом за руку, а меня и не заметил. Дед Алексан был высокий, косой, а ещё шапка сдвинулась на голове и отвисшим ухом закрыла ему один глаз, он меня и не рассмотрел у своих ног.

— Рабочим лошадям озадок зададим, остальные мякины поедят с утра, живы будут. Поезжай в ригу, а я с навозом закончу, — сказал дед Алексан и вернулся к своему занятию.

Отец стал запрягать в глубокие конюховские сани лошадей. Я направился к риге. В деревне ещё топились печки. Дым на морозе столбами поднимался к небу, потому что не было ветра. От такого дыма деревня была красивая. Тётки и девки от колодцев носили на коромыслах воду. У чьих-то домов кричали гуси — наверное, вышли на снег и отморозили лапы.

До риги я не дошёл. Мне показалось, что за лугом по полю кто-то бежал. Отец запряг одну лошадь, заводил в оглобли другую. Он запрягал сразу две подводы. Одну загрузит, пустит — и лошадь сама отвезёт в конюшню корм, а пока он наполнит вторые сани, дед Алексан успеет из первых раздать лошадям корм. Мне хотелось самому увидеть котят, но я побоялся того чёрного на поле. Зимой на белом поле всё чёрное кажется издали живым, бегающим, пугает маленьких и несмелых. Я задом отступил к саням, потерял в поле чёрное, но побоялся я ещё и потому, что ворота риги были раскрыты настежь, а в ней было темно. Я вернулся к отцу.

Отец запряг лошадей в двое саней, и мы поехали с ним к риге. Меня он посадил на вторую подводу, а сам правил первую лошадь, хотя дорога к риге была прямая и не дальняя. Я тоже держал в руках вожжи, дёргал ими без конца и кричал:

— Н-но! Н-но, пошла!

Я управлял лошадью, ехал за кормом, работал. Вот что значит, если твой отец конюх. Я думал, что я тоже всегда буду конюхом.

Мы въехали в ригу через широкие ворота. Отец остановил лошадей у мякины, развернул сани и стал большими вилами, тупыми, со многими рожками насыпать в сани мякину.

— Пап, а где котята? — спросил я.

— Пока не видать, — ответил отец. — Будем работать, может быть, они выйдут.

— А мне можно наверх залезть? — спросил я.

— Полезай, — разрешил отец, улыбаясь.

Я полез наверх, но тонул в мякине и чуть было не зарылся в ней. Отец взял меня и закинул наверх. Я пополз в темноту. Там вдруг блеснули огоньки.

— Пап, там огонь светится, — крикнул я.

— Огонь ли? — отозвался отец и поставил вилы. Он взобрался ко мне на мякину. — Где ты видишь огонь?

— Потух... Ай, ай, вон он, — крикнул я.

— Вижу, — ответил отец. — Это они. Ползи правой стороной. Только близко не подползай. Я слева зайду.

Отец снял фартук, и мы поползли. Котят не было видно, лишь посверкивали огоньки от их глаз. Но вскоре я услышал их шипение, злое фырканье. Вдруг один за другим чёрные комочки метнулись прочь с мякинного омета. Я видел, как отец вскочил на ноги, бросил свой фартук, упал на него. Я тоже вскочил и бросился в угол и... я тут же и провалился опять куда-то. Знаю, что летел я вниз, летел, казалось, долго и никуда не долетел, потому что ни ногами, ничем другим я ни обо что не ударился. Лицо моё было засыпано чем-то мягким. Я открыл рот, попытался крикнуть, но это мягкое сразу забило мне рот. Глаза не смотрели. Я их открывал, пялил перед собой, но они ничего не видели. Я понял, что их залепило тем самым чем-то мягким, чем и забило рот.

Сначала я не шевелился, боясь улететь куда-нибудь глубже, откуда меня уже не спасут. Я сидел — ноги выше головы. Встать потому самостоятельно не мог. Вдруг я услышал голос отца, хотя он был где-то внизу, но я обрадовался и потому не заплакал. Отец спрашивал, где я, куда провалился.

— У-у-гу-гу, — смог я ответить, не вдыхая ртом воздуха.

Отец прополз между стенкой и мякиной ко мне, вытащил меня из жуткой пропасти, спас, одним словом. Он очистил моё лицо от мякины. Мы с ним посмеялись над моей оплошностью. Я спросил:

— Пап, а котята где?

— Котят теперь днём с огнём не найдёшь, — ответил он и снова нарядился в фартук для работы.

— Пап, а мы их ещё ловить будем?

— В другой раз обязательно будем — и поймаем. Никуда они от нас не уйдут. Надо будет им еды принести.

А ты постарайся о них никому не рассказывать. Ребята узнают, переловят их.

— Нет, пап, я никому-никому не скажу, — заверил я отца, но мне почему-то после этого, заверения сразу захотелось рассказать про котят всей нашей соседской ватаге, и я спросил: — Пап, а Мишке нашему тоже не говорить?

— Он знает сам давно, — ответил отец.

— А, а мне не рассказывай, — обиделся я. — Ладно, и я ему не расскажу, вот!

Отец насыпал мякины на свои сани, вывел лошадь на улицу и сказал мне:

— Давай, сын, вези, а я буду второй воз насыпать. Там дед Алексан начнёт раздавать — скорее управимся.

Он посадил меня на воз и дал в руки вожжи. Я обрадовался больше всего на свете. Наверное, я тогда от радости светился, как солнце. Я ехал на возу до конюшни, кричал на лошадь во весь голос и крутил головой по сторонам, смотрел, не видят ли меня ребята или кто ещё. На меня смотрели тётки, нёсшие от колодца воду. Мне от этого

было ещё радостнее.

Дед Алексан уже вывез на санях из конюшни навоз и поджидал меня у ворот. Он курил толстую самокрутку, левую руку держал в кармане, а правой чесал голову, сдвинув набок шапку.

— Я привёз мяки-ки-кормы, дедушка Алексан! — сообщил я с воза.

Он потянулся ко мне и стал искать меня на возу своими добрыми косыми глазами, сказал:

— Это не Данил? А я думал, Данил, да думал, а что ж другую подводу-то не гонит? А, это ты, Данилыч... Въезжай прямо. Сейчас будем раздавать.

Мякину дед Алексан раздавал лошадям сам. Он насыпал её с воза руками в большую плетушку и носил в комяги. Но мякиной он кормил не всех лошадей. Рабочие лошади уже получили овёс и хрумкали его, фыркая от удовольствия. Молодые лошади смотрели из денников через перекладыны, ждали мякину. Я ходил и смиренных гладил по мягким и тёплым губам, разговаривал с ними.

Как прошёл день до конца, я помню смутно. Но работали мы на конюшне долго, почти до обеда, и пришли с отцом домой уставшие. Правда, я сразу потащил на гору салазки, а отец принялся за свои хозяйские дела.

А ночью мне снились чёрные зверюшки и звери. Я охотился на них и спасался от них, кричал во сне, как наяву, и просыпался от собственного крика. Несколько раз я слышал пение петуха, но в избе было темно, все спали. Мне хотелось по петушиной побудке подняться, но я боялся темноты и не знал, каким делом могу заняться, если поднимусь в такую рань. Утром я сказал за завтраком:

— И чего это наш петух ночью всё кукарекает? Ночью спать надо, а он «кукареку» и «кукареку».

— Такая его планида, — ответила мать.

— Планида, — рассмеялся я над чудным и непонятным мне словом.

Брат назидательно толкнул меня в бок, сказал:

— Планида — это судьба.

Я толкнул его тоже в ответ, сказал:

— Паланида — это шутьба.

Мы могли разодраться из-за этой «планиды», но отец вовремя остановил нас. Мы молча, без возни за столом, дозавтракали и разошлись по своим делам.

КОРОТКИЙ СКАЗ О ПОЛЬЗЕ УМЕНИЯ БЕГАТЬ

Многое рассказала мне мать о самых первых днях моей жизни. Говорила она, что я много раз пугал её, собираясь помереть. Я синел у неё на глазах, переставал дышать. Она плакала, не знала, что со мной делать. Бабки советовали нести меня в церковь крестить, но мать боялась трогать меня немощного. Я говорил ей, что я не помирал, а становился таким от холода.

— Если бы от холода, а то и на печке, бывало, глазки закатывал и знать ничего не хотел. И куда там нести в церковь, на месте трогать тебя было боязно.

— А потом-меня крестили? — спросил я.

— Без этого не оставили. Тогда все так делали. Снесли тебя в Село. Несли-то когда, дорогой ты голосочка ни разу не подал, а в церкви удивил всех. Казус с тобой там вышел. Опустил тебя батюшка-поп в купель, а ты как крикнешь, он и вырони тебя из рук. Не ждал такого, выдать. За тобой тогда-то вся орава заголосила. Крестили-то тебя не одного. Батюшка давай хватать всех подряд и наспех в воду кунать. У него своих попят полный дом был, хватало крику, а тут и чужие валт подняли.

Ещё мать рассказывала, что и после крещения я не раз собирался умереть, но ей со мной проще было. Она призывала ко мне мою хлопотливую крёстную и поручала ей выхаживать меня, и она выхаживала. Говорят, что первую, самую трудную зиму я кое-как в люльке перемаялся, перебился, а с весны по траве-мураве уже пополз, за цыплятами стал гоняться, траву в рот тянуть да землю, да камешки разные, но ползал не так-то долго, видимо, надоело всегда быть с грязными руками. Однажды встал на ноги, осмотрелся, стоя-то на ногах мне мир дальше стал видаться, и пошёл я себе куда глаза глядят.

Разумеется, здесь прибавили малость рассказчики. Родился ли когда такой ходок, чтобы разом встать и пойти, да ещё куда глаза глядят. А может быть, и так было, но это мало интересно. Однако стоило мне научиться ходить, я сразу прирасслабился бегать, потому что это было очень мне нужно. Уйдёт отец на работу без меня, а хочется с ним прокатиться, увижу его на выгоне за прудом, ну, ноги под мышки, раз — и догнал его. Признаюсь, иногда случались просчёты. Догонишь отца, а он не в духе, скажем. Спрашивает:

— А ты куда?

— С тобой, — отвечаешь ему на радостях, что не управился он без тебя уехать.

Отец разматывает кнут, приговаривает:

— Тебя кто это звал со мной? Я вот тебе...

И некогда дослушивать его речь, скорее шапку в охапку да тягу. Оглянуться только дома и успеешь, отдышишься и думаешь: «А хорошо, что ты бегать умеешь. Могло и попасть». А от гусака убежать, а от барана? Это тоже немаловажное дело. А перехватить корову? А за аэропланом побежать, чтобы подольше видеть его, как он летит? И вообще, куда только не надо бежать, когда бегать ты умеешь быстро.

Однажды мне пригодилось моё умение бегать, и я за это получил такую награду, что никогда не забуду про неё. Было лето. В наш колхоз приехали из Спешнева из сельсовета проводить колхозное собрание, приехал сам Тимофей Иваныч, он работал в сельсоветской избе-читальне, приехал с патефоном, председатель сельсовета был и ещё кто-то. Я увидал их за Заложкой, крикнул ребятам и пустился к выгону, к колхозным сараям, где летом всегда проводились все собрания.

Я первый увидал в руках Тимофея Иваныча ящичек с блестящими уголками и полосками. Он поставил его на стол, открыл крышку, взял изогнутую ручку, покрутил её, вставив в этот ящичек. На синий круг поставил чёрную пластинку и опустил на неё тоже блестящую с прорезьями головку. В ящичке зашипело, потом заиграла музыка и

полилась песня.

За мной следом к сараю прибежали ребята, и на песню потянулся народ. Все знали, что будет собрание, если Тимофей Иванович привёз патефон. Мы окружили стол и смотрели на патефон. Было чудно: как это смогли артистов посадить в такой маленький ящичек, чтобы в нём возить их по деревням и заставлять петь песни? Мы старались тайком потрогать патефон. Тимофей Иванович весело улыбался, подкручивал ручку и переворачивал или менял пластинки.

Когда собрался народ, Тимофей Иванович остановил патефон и сказал, что повеселит опять всех после собрания, что надо поговорить о делах колхозных. Он заставил нас сесть. Мы пристроились кто на чём. На земляном полу в сарае сидеть было холодно. И председатель сельсовета стал говорить, хвалил колхозников и ребят-пахарей за хорошую работу. Потом он сказал такое, что все радостно заговорили в один голос. Он сказал, что дня через два к нам приедут трактора. Мы уже слышали, что есть такие машины, которые и пашут, и сеют, и молотят, и косят, что с одной такой машиной не сравнятся и десять лошадей.

После собрания опять играл патефон, потом все разошлись на работу...

Мы с Шуркой Беленьким сговорились встретить первыми трактора за деревней. И только все разошлись от сараев, мы с ним прокрались по ручью к Заложке, потом по старой дороге вышли на перевал, откуда можно было видеть и Скородное, и Спешнево со всей дорогой. Там на перевале было несколько больших камней-валунов. Днём они нагревались на солнце и под вечер, когда становилось прохладно, на этих камнях можно было греться.

До вечера мы пробыли на перевале, но тракторов не дождались и, сломив с ракетки прутьи, оседлали их и примчались в деревню. Отдежурили мы и на второй день полдня на перевале и опять не дождались ничего. На третий день уже и забыли о тракторах, играли у пруда, купались. .. Вдруг кто-то крикнул:

— Слышите? Аэроплан!

В небе ничего не было. Шурка Беленький крикнул:

— Ребята, тракторы едут!

Мы бросились из воды на берег, словно в пруду появилась кровожадная акула. Кто был на берегу, бежал к дороге. Я натянул на ходу штанишки, поддерживая их рукой, а в другой нёс рубаху; пустился низом, вдоль ручья к Заложке. За мной голышом неслись Тика с Колькой Столыпинам. Но скоро они отстали. Я добежал до Заложки. На перевале показались большие чёрные машины с трубами. Ребята были ещё у дома Пататанов, а я пронёсся по Заложке, переждал, когда трактора свернули на нашу слободу, и первым встретил их на дороге.

Трактора оказались все синие вблизи, а трактористы чёрные, как в дёгте вымазанные. Первый трактор остановился, и тракторист нагнулся, позвал меня и спросил:

— Председатель где живёт?

— Там, — показал я рукой на нашу слободу.

— Давай забирайся ко мне, будешь показывать дорогу к нему.

На трактор надо было забираться сзади. Я обрадовался, но побоялся грохота мотора, боялся, что меня задавит. Но тракторист обернулся на сиденье, скомандовал мне рукой подойти, подал руку. За трактором были прицеплены плуг и культиватор. На них лежали бочки. Я встал на плужную тягу и оказался на полке рядом с трактористом. Ребята подбежали и за мной бросились на трактор.

— Куда! — крикнул тракторист. — Кто звал?

Он шлёпнул Шурке Беленькому по голому животу — и чёрная пятипалая печать от руки тракториста осталась на его животе.

Кого-то из ребят взяли на другие трактора, но не всех. Мой первый трактор покатил по дороге. Ребята запрыгали по комыям и колючкам по обочине дороги. Я боялся свалиться под зубчатые колёса, крепко держался за крыло и за плечо тракториста руками.

Время было обеденное, весь народ находился по домам. Все вышли к дороге. Все махали руками трактористам, приветствовали их, зазывали в избы. Старушки крестились и прятались в сенцы.

— Не тут председатель? — спросил тракторист у нашего дома.

— Не! — крикнул я. — Тут мы живём. Председатель там, — показал я на нижнюю слободу.

Мать погрозила мне строго за моё катание, а отец улыбался, был рад, что я на тракторе показываю трактористу дорогу. Трактора остановились у дома председателя. К ним сошлись люди, смотрели их, трогали. Я сидел на сиденье тракториста, крутил руль и фыркал вместо мотора. Трактористы обедали. Мы изучали трактора, воображали себя трактористами. Ребята, которых не прокатили, завидовали прокатившимся.

После обеда трактористы вышли из дома и стали заводить моторы кривыми рукоятками. Мой тракторист был словно богатырь, он крутил рукоятку без остановки, раскачивал трактор, словно лёгкую телегу. Трактора снова зарычали, заработали и двинулись за председателем на пар.

От председательского дома ко мне тракторист посадил Шурку Беленького и Кольку соседского, прокатил нас до ракитового куста на дороге к Селу, где трактористы разбили свой табор.

Тракторов было три. Пахали поле они три дня и три ночи. Мы носились за плугами по широким тёплым бороздам, пока не уставали. Из нашей деревни трактора уехали в Глотова. У нас стало тихо опять и скучно без них. Я звал ребят сбегать посмотреть на трактора в Глотова, но ребята боялись, что нас побьют глотовские ребята.

Но потом, когда скосили и убрали в скирды рожь, трактора снова появились у нас, один привёз большую молотилку, стал молотить снопы, а другие трактора пахали зябь. С того лета трактора стали приезжать к нам каждую весну: пахали, сеяли, молотили. И каждый раз, когда стаивал снег, мы бегали встречать на дорогу трактора, и тот, кто быстрее всех бегал, оказывался самым счастливым, первым катался на тракторе. Это был я.

Но приписывать в этом заслуги только самому себе я не имею права. Прежде всего поспевать всюду учил меня отец. Он ходил быстро, а мне лишь и оставалось бежать за ним, чтобы не отставать. Вторым моим учителем по бегу был брат. Он был моей главной нянькой. Мать, уходя на работу, наказывала ему:

— Не бросай Лёньку. Есть захочет, покормишь его. В печке картошка жареная, на столе молоко с хлебом.

Мать за порог, а брат разом в печку за сковородкой. Выставит мне картошку, молока даст с хлебом, усадит за стол, а сам к порогу.

— А ты куда? — спрашиваю я. — Я тоже хочу с тобой.
— Ты ешь. Мне на двор надо.
— И мне надо на двор, — говорю я.
— Ой, там куры в огород пошли, — спохватывается брат.
— Я тоже пойду их прогонять, — отзываюсь я. Каким-нибудь обманом брат выходит за порог, да за угол, да по-за садами прочь от дома, к ребятам. Но я тоже не сижу за картошкой: не хлебом единым жив человек — вылетаю на улицу, кричу:

— Мишка! Мишка!

Он не отзывается. Выбегаю на дорогу. Ни в верхнем конце деревни, ни в нижнем его не видно. Значит, он побежал огородами. В верхнем конце деревни ребят нет, делать ему там нечего. Значит, подался на низ. Посмотрим же.

Я оставляю раскрытыми двери, несусь по гусиной траве, по ромашке. Жёлтые пахучие головки ромашки застревают в пальцах ног, срываются и стреляют в лицо. И нет колючек на пути, нет камней. И никого не вижу, ничего не слышу. И вот я у избы Машковых. К ним круглый год сходятся все, кто слоняется без дела.

Изба Машковых открыта всем ветрам. Сеней у них нет. Дверь с улицы ведёт в избу. Стена над дверью черна от копоти. У них печь без трубы. В двух окнах лишь верхние стёкла. Низ заложен кирпичом. В избе громкий гвалт. Значит, она полна ребятами. Здесь и Мишка. Но мне входить боязно, набираюсь решимости у двери — вдруг, как ни в чём не бывало, с огорода выходит Мишка и останавливается в испуге, словно перед страшным зверем..

— Ты... ты откуда? — спрашивает он.

— Из дома я.

Брат тяжело дышит. Он быстро бежал от меня. Оказалось, я бежал быстрее его. Он решает, что делать со мной. Быть всё время с «хвостом» кому охота. И сверстники его берут в игры с привеском не очень-то охотно, потому что думают, я буду отставать, ныть, а если на бедокурство пойти, то маленький может выдать их. Они-то со своими меньшими братьями расправлялись просто: по голове тумак-другой — и отплакивайся дома, не ходи хвостом, но мой брат не жестокий. Он хороший дипломат и уговаривает меня остаться дома на каких-нибудь выгодных мне условиях. Но когда он брал меня с собой и они устраивали игру в купцов и разбойников, то тогда уже обегались все перелески, овраги, сады и луга. Купцам надо было спастись от разбойников, а разбойникам ловить их. Тогда и я старался не отставать от старших, не попадаться в руки разбойников.

ДРУЗЬЯ-ЛЮДИ, ДРУЗЬЯ-ПТИЦЫ, ДРУЗЬЯ-ЗВЕРИ

Говорят, что самое трудное в жизни — найти друга. Если бы я об этой трудности знал с малых своих лет, то я и не стремился бы впопыхах искать его. Но я сразу принялся за поиски, да не одного, а многих друзей. С одним другом, я считал, будет скучно, а если их много — будет веселее. Среди больших ребят друга у меня не могло быть, потому что они пошли в школу. О чём они станут со мной толковать, какие общие интересы искать? А маленькие ребяташки, которые моложе были, они, по-моему, в дружбе ещё ничего не понимали, ещё дорастали до этого понятия, потому мне и приходилось одно время расти самостоятельно почти. Ровесники у меня были, но мне они тоже казались недоростками, потому что мало знали, мало умели, и с ними на долгое время игры не настраивались.

Дело было вот в чём. Род свой, отцовский, помню с прадеда, а материнский — с деда и знаю, что они все были в пристрастии к разным ремеслам, но больше — к работе с деревом. Сани ладили; салазки детишкам мастерили собственными руками; кадку — солить огурцы и квасить капусту — отрохают любую; дом срубить — срубят; крышу поднять, раму оконную связать, дверь любую сплотнить — это было обычным и привычным* трудом. Молотилки, жатки настраивали. Пчёл водили. Другие и охоту уважали. Умели и борозду на поле прямёхонько провести сохой или плугом. На луг выходили — не байки сказывали. Песни петь умели и интерес к гармонии с балалайкой проявляли. Верно, и мне передалось всё их умение. Сошло, как по лесенке от прадедов к дедам, от дедов к отцу, а от отца и ко мне. И зачем мне нужен был друг, когда всему меня учил отец и почти всюду брал меня с собой? Иные говорят, что отец сыну своему первый и лучший друг, но это совсем не так: у отца такие обязанности, которые ни один друг не сможет выполнить. Отец тебя кормит, одевает, учит работать; он твой заступник и защитник до конца жизни своей. Друга можно называть по имени, при случае с ним можно и поцапаться, если возникли сверхдружеские разногласия. А попробовал бы я сказать отцу:

— Послушай, Данилка, что ты сказал, это чепуха. Делать по-твоему я не согласен.

— Ах, я тебе не отец, а Данилка? — был бы ответ отца. — И по-моему ты не согласен делать. Вот я тебе и прописываю согласие.

Дело не обошлось бы без чего-нибудь хлёсткого. А я не возразил бы ему, не дал бы сдачи, как дружку с улицы. Отец больше, чем друг. Куда бы я делся без него? Кто

бы меня прокатил верхом на лошади, сперва у себя на коленях, а потом и одного, самостоятельно, когда другие мои сверстники ещё не приближались к ней? Кто бы мне дал подержать в руках ножичек, топор, долото, рубанок, ножовку? С кем бы я посадил первое дерево у своего дома? А кто бы меня поздно вечером взял бы к пруду ставить кубарь, а утром, когда всё плавает, скрываясь в молочном тумане, когда ноги обжигает холодная роса, вынимать этот кубарь с ясными трепыхающимися, словно птицы в западне, карасями? Только отец может с тобой столько водиться, терпеть твою слабость и всякую необученность в делах.

Хороший друг тоже должен учить тебя всему, что он узнал первым, но больше твоего отца он всё равно не будет знать. В чём-то ты и сам научишь друга. Он заступится за тебя, а ты за него. И если он хорошо учится, то и ты не отстаёшь от него, он и тебя научит. Радуетесь ты с ним вместе и горюешь, если на кого-то из вас горе свалится. Работаете с ним рядом или службу проходишь вместе. Это уже дружба. Не зря говорят в таком случае: «Друзья — не разлить водой!»

С первым я подружился с Шуркой Беленьким. Так его прозвали за белые волосы. Он рогатки делать умел. Жили

они на краю деревни. Под окном у них росла раkitка, и под раkitкой, у самого её ствола был колодец, а дальше внизу находился самый большой в деревне колхозный колодец, который тоже назывался Белым. Вода из этого колодца вытекала в ручей, была всё жаркое лето холодная. У колодезного сруба стояло длинное деревянное корыто, из которого поили лошадей. Мы с Шуркой Беленьким в жаркую погоду бегали пить воду из Белого колодца. Мы ложились на живот над ручейком и пили. Потом брызгались из корыта, когда в нём оставалась вода. Летом обычно корыто без воды не оставлялось, потому что без воды оно могло расколоться. Конюхи, напоив лошадей, снова наполняли его, и нам воды для баловства всегда хватало.

От колодца мы переходили через ручей на выгон и через выгон добирались до конюшни. Вначале мы гоняли воробьев по сараям и амбарам (Шурка был заядлый воробьятник), потом дожидались обеда, когда съезжались с работы подводы и надо было поить лошадей.

Кто-нибудь из конюхов уезжал верхом первым к колодцу и наливал в корыто воду. Мы ждали команды, когда гнать на водопой табун. И лишь подавалась команда «пора», мы по перекадинам денников взбирались на самых смиренных лошадей и выезжали из конюшни. Ни уздечек, ни обростей на наших лошадях не было. Мы ехали по воле лошади. Весь табун выстраивался на водопойной тропе и медленно двигался к колодцу. Каждый из нас мог оказаться в голове или в середине конской колонны. Бывало, что первая лошадь остановится, и тогда останавливаются все. Наши крики и понукания не помогали. И лишь дед Алексан или мой отец, настигнув табун, могли подогнать запряженную лошадь. От пруда лошади сходили к ручью, пересекали ручей, поднимались из оврага на выгон и подходили к колодцу. Они тесно обступали корыто. Мы задирали ноги, боялись, что лошади раздвоят их своими ребристыми боками. Спины лошадиные были рядом, можно было перелезть с одной на другую, но мы не смели, боялись. Напившись, лошади шли в конюшню, к свежему корму, и мы ехали на них в обратный путь.

Тогда мы с Шуркой ходили и к крайней Карапетовой избе, где росли высокие берёзки под окнами, и на них всю весну, лето и осень висели качели, и мы качались там. Потом Карапет куда-то уехал со всей семьёй. Изба их опустела, и качелей не стало. Изба сперва была кругом заколочена, но одно за одним сорвались ставни, двери и выбились стёкла в окнах. Мы заходили в избу, робели в её нежилой тишине и тосковали от её пустоты и разорённости. Позже не стало всей избы, её разобрали по брёвнышку и увезли в другую деревню; обломался и засох сад; берёзки спилили и увезли вместе с избой.

Теперь на этом месте остался лишь бугорок мусора, заросший бурьяном, да сохранилась небольшая заболоченная впадина Заложка, откуда зимой и летом ручей наполнял водой наш пруд. Я тогда мечтал разрыть на Заложке все родники и сделать из них речку. Такое желание было у всех ребят. Мы приходили к ручью с лопатками, ковырялись в тяжёлой глине, находили один-два родничка, но вода в ручье от них мало прибывала. Ребята один за другим начинали лениться, бросали работу и разбредались по домам. Когда у меня с ними почему-нибудь расстраивалась дружба, мне особенно хотелось провести от Заложки речку, удивить их этим и поразить навсегда. Но мало было воды для речки, оставался прежний ручеек, который и теперь, когда вся моя Каменка расселилась на новые места, всё журчит под горюшкой. И всё равно моя речка, которую я мечтал пустить, смывала прудовую плотину, широко текла по широкому оврагу, сворачивала за деревней вправо, неслась бурно под нашим дубовым леском, миновала Гаёк, Макеечкин ров, сливалась у Гудиловки с глотовской речушкой, дальше соединялась с Чернью, с Зушей, с Окой, с Волгой и впадала в Каспийское море. И я в гордом одиночестве совершал по этим рекам далёкие путешествия на волшебном корабле, потом созывал всех друзей, чтобы показать им свой труд.

У кого-нибудь может возникнуть подозрение: откуда мне было знать так точно географию, когда я ещё и не учился? Но я её узнал с самых что ни на есть моих до-памятных пор. Секрет тут очень простой, и скрывать я его не собираюсь. Я уже сказал, что у меня был брат, а он был человеком особого ума. Он семь классов проучился на «только отлично». Тогда «колов» и «пятёрок» учителя не ставили, словами ценили знания и труд, а не цифрами. Да какие слова писались: «отлично», «хорошо», ну, пониже: «посредственно». Это значило средне, середина, как среда в неделе. Там, где есть высшее, среднее, то должно быть и низшее, и оно было: «плохо», «очень плохо». А ещё к такой оценке учитель возьмёт да восклицательный знак поставит. А этот восклицательный знак, на стрелу похожий, насквозь тебя пронзает. Это — слёзы самому на долгие дни, беда дому и, кажется, беда земле, солнцу и небу. Дальше «очень плохого» двигаться некуда. Ты пригвождён им к вечному позорному столбу. А «отлично» защищает тебя от всех бед, уносит ввысь.

Мой брат был отличником. Читать он научился ещё до школы и считать тоже. И прочие науки познал рано, не самостоятельно, разумеется, а через старших ребят. Рядом с нами жили Назаровы. Они даже родней нам приходились. У них был малый, тоже Мишка. Он нам двоюродным дядей приходился. Мишка-дядя учился в школе, а мой брат любопытство проявлял к его книжкам, ну, и перенял многие науки, поскольку он способный был, а я от брата своего потом взял себе для пользы кое-что, а в первую очередь — географию. Видимо, я тогда понял, что эта наука может вот как пригодиться, вдруг или заскучаешь, когда один останешься, или надоедят обычные игры.

Путешествовать мне нравилось. Когда же я от брата узнал о Магеллане и Колумбе, то сам побывал и Магелланом, и Колумбом. Мне это ничего не стоило, если я мог своими силами реки прокладывать...

Когда я научился верховой езде на лошадях, жизнь моя стала разнообразнее, взрослее. По вечерам отец стал брать меня гонять в ночное табун. Теперь лошадь была с обратною. Я держался за поводья, управлял лошадью, помогал отцу собирать табун, и гнали мы его потом на луг. Луг этот назывался Дубняком, потому что там в давнее время росли огромные дубы. К вечеру низина лугового оврага заливалась туманом. Лошади, казалось, плыли по туману. Было красиво и жутко. Солнце скрылось за полем, гасла заря. Мне представлялись волки. Отец снимал меня с лошади в холодную траву. Я боялся бежать через выгон, мимо пустой риги к дому. Росой обжигало ноги. Я поднимался на склон луга, где было тепло ещё, выходил на тройинку, нарочно что-нибудь спрашивал у отца, крича ему громко, а сам набирал скорость и несясь, пока звучал его голос, во весь дух. Я спасался от волков его голосом. К отцу на луг приезжал дед Алексан, и они до утра пасли в ночном табуне лошадей. Я удивлялся, как они не боятся волков, всю ночь проводят далеко от деревни.

Была у нас в Каменке разбитная середина. Их три дома, Кольки и Ваньки Машковых и Кольки Прокошина, стояли посередине деревни рядом, мне мать наказывала частенько, оставляя одного дома:

— Смотри, Лёнька, на середину не ходи. У своего дома играй.

Материнский наказ я выполнял не всегда. Если все прочие друзья рассорятся со мной, или просто не захотят играть, или разбредутся куда-нибудь, то я шёл к Машковым.

Машковы в нашей деревне были собачниками. Бывали у них злые собаки, но такие жили недолго, мороки с ними много: привязывать надо. К тому же цепного пса кормить, а беспривязный где и сам что-либо подберёт, иногда мальчишки покормят. И водились собаки в основном для забав ребячьих. Старшие ребята делали луки и ходили на охоты. Но псы были из дворян, зайца не гнали, чаще всего не понимали даже, на кого ребята травили их, за кем гонятся они, кого облаивают. Мы обходили многие поля, перелески. К вечеру ребята возвращались в деревню, как завзятые охотники, расходились по домам. Машковым ничего не бывало за охоту, а других полупливали, что и дров не приготовлено на печь, и вода не принесена, и уроки не выучены. А когда старшие ребята бывали в школе, охотились мы. Далеко от деревни мы уходить боялись, но за огородами, по одоньям шумели, меряя снег.

С Васькой Федосеевым мы маленькими не дружили. Он был толстый и крепкий, любил только бороться, всех обязательно побарывал, и с ним было неинтересно. Бороться его приучил отец Федосей, потому что сам был сильным борцом и часто боролся с мужиками на выгоне. Но мужики-то не дрались, для веселья боролись, а у нас драка почему-то при борьбе получалась.

Лучшим моим другом оказался мне мой двоюродный брат Лёнька. Он родился на два года позже меня, но как-то вырос, что я не заметил даже, и мы с ним играли многие годы. А тут всё дело в том, что наши матери были сестрами, а жили мы через дом, нас и сводили вместе. У Лёньки была бабушка, она была добрая, славная, нас она и мирила, сдружала. У них можно было быть как в своём доме, потому что родня, а когда мы играли у нас, то Лёнька тоже считался своим и получал всё то же, что и я.

Я помню, как мы с Лёнькой однажды были грачами. Стояло лето. В конопле созрела замашка. Бабка Анюта вышла за свой огород на колхозное поле выбирать замашку и взяла с собой нас. Она вывела нас на канаву за огородами, где росли кусты, деревья и проходила старая дорога, оставила играть. На земле играть нам показалось боязно, потому что деревню и бабушку Анюту от нас скрывала конопля, а с другой стороны к дороге подступала высокая рожь, вдалеке за рожью проходил луг и старый, поросший травой и лесом, овраг. Оттуда могли подкрасться волки, наши всеобщие враги. Мы полезли на ракиту и объявили себя грачами. Я взобрался к самой макушке дерева, потому что был старше. Мы стали вить гнёзда, громко крикая, махали руками, словно грачи крыльями. Наверное, мы свили бы настоящие гнёзда, наверное, нанесли бы настоящих грачиных яиц и высидели бы настоящих грачат, если бы под моей ногой не обломился хрупкий ракитовый сук и я не рухнул бы на землю.

Позже я охотно учил физику с её определениями о земном притяжении и вспоминал этот случай. Если бы не было его, притяжения земли, я полетел бы ввысь, а потом направился бы по своему выбору в любом направлении, и конечно, я оброс бы к зиме перьями и стал бы новой птицей, какая не известна была ещё человеку и науке о птицах, орнитологии.

Упал я с дерева утром. Помню солнечные деревья, коноплю и рожь. А потом я почувствовал боль в правой руке, закричал и проснулся в темноте. Я лежал на постели в своём амбаре. Возле меня стояли отец с матерью и сидела бабка Фёкла, соседка наша, славившаяся костоправкой. Говорят, что если не растеряться, то и при падении можно вывернуться и приземлиться благополучно. Наверное, и я пытался опереться на руку, но вес тела и высота падения оказались чрезмерными для прочности моей руки. Я вывихнул её в кисти. Бабка Фёкла перебирала суставчики и жилочки, ставила их на свои места, а я орал.

С улицы в дверь амбара светил вечерний слабый свет. Бабка Фёкла заключила мою руку в лубок, замотала тряпичками и оставила меня на выздоровление. В амбаре мы спали с братом, но в эту ночь со мной лёг спать отец, а брат улёгся отдельно на сеновале. Днём, пока я был в беспмятстве, я, по-видимому, выспался и всю ночь страдал от боли и не спал. В амбаре, куда уже положили первое лучшее сено для ягнят и телёнка, было душно, и я просился «на двор». Отец снимал меня с постели и выводил на улицу. Деревня спала. В небе плыла круглая ясная луна. На траве лежала роса, обжигала босые горячие ноги холодом. Я выходил на дорогу в тёплую дорожную пыль. Отец предупреждал:

— Далеко не ходи.

Ночная дорога казалась приветливой, мне хотелось по ней куда-нибудь пойти. Я целый день лежал, не вставал на ноги, теперь с радостью походил бы и побегал, размял бы ноги, хотя один я куда-то не ушёл бы, потому что нас тогда пугали и домовыми, и водяными и разной нечистой силой, а дед Яша придумал ещё каких-то чеканашек, живших в колхозном саду под старым дубом.

— Ты скоро там? — спросил отец. — Или на всю ночь тебя оставить?

— Скоро, — буркнул я и насторожился.

Мне послышалась музыка. В Коробочке, ближней деревне, играла гармонь. Звуки её были стройны, протяжны и трогательны. Игралась какая-то русская старинная песня. У меня защемило сердце, закололо в переносье, и я заплакал. Мне показалось, что кто-то несчастен, больной и обиженный. Но никто об этом не знает и не догадывается, только гармонь ведает эту человеческую беду и рассказывает о ней, но рассказа её тоже никто не понимает — понимаю только я и плачу от бессилия помочь всем и всему.

Через дом от нас на крыше Алёшиных крикнул сыч. Я разом влетел в амбар, дрожа от испуга, полез на постель. Отец помог мне и спросил, укрывая попонкой:

— Чего испугался?

— Кричит у Алёшиных на крыше.

— Птица. Сыч. Его бояться нечего.

— А они колдуны? — спросил я. — Почему у них одних сычи?

— Колдуны? Откуда они тут? Они только в сказках.

— Да, а в Малахиной избе огонь горит.

— Чепуха всё это. Никакого огня там никто не зажигает. Луна светит, а в окнах поблёскивает, как огонь. Трусам всё колдовство. Спать давай. Утром рано вставать, кубарь смотреть.

— И мне можно смотреть?

— В воду с больной рукой тебя не пошлешь, будешь смотреть с берега.

Отец засыпает, а я ещё долго блуждаю мыслью по окрестностям своей Каменки, по перелескам, лугам и оврагам. Оказывается, я всё уже обошёл, всё видел, знаю на своей родной земле. Но вот я переносюсь на луну, на звёзды — и засыпаю.

Будить меня пожалели. Утром отец доставал кубарь с братом. Я проснулся уже к жареным в сметане и с яйцом карасям. С этого утра самый любимый в доме — я. Мне пододвигается лучший карась; мать спрашивает, не хочу ли я чего другого; в доме есть сало, мёд, сметана, яйца; можно сварить чего-нибудь молочного, поджарить, испечь — только я кивни головой. Но я ничего не хочу есть. У меня ноет рука, и мне хочется скорее на улицу, где давно собрались ребята и ждут посмотреть мою руку.

Ребят у дома было не много: Шурка Беленький, Лёнька, Колька с Тикой — внуки бабки-костоправки Фёклы. Я вышел из сеней за порог так, как выходили цари из царских палат вершить свои царские дела. Вначале из дверей показалась моя рука в тряпках и лубке. Некоторое время она поторчала перед взорами растерявшихся дружков, подалась вперёд и вытянула на свет меня. Помню, да-да, помню, как ребята замерли передо мной, вытянулись, насторожились и залюбопытствовались. Никто из них не мог произнести ни слова, не знал, что говорить. Я заметил, что у них, словно лопухи от ветра, шевелятся уши, вытягиваются носы и извиваются шеи, словно у гусаков. Я направился к дороге, не обращая на них внимания. На дороге делать мне было нечего. Я хотел остановиться, вернуться к ним, но из сеней выглянула мать и сказала:

— Лёнька, смотри со своей рукой не уходи от дома.

— Нет, я только в амбар, — ответил я и последовал в амбар, где делать мне совершенно было нечего.

Я видел, как скисли мои дружки-приятели. У них ко мне, разумеется, было какое-то важное дело, а я прошёл мимо и скрылся от них. Придя в себя, они задвигались неуверенно, зашептались и пошли в обход моего укрытия. Вскоре послышался стук в заднюю стену амбара, и меня позвали. Я узнал голос Шурки Беленького. Он, словно попавший в беду, позвал меня ещё несколько раз и умолк. Я прилёг на сено, положил ногу на ногу, задрал вверх больную руку и стал смотреть на свою избу. Мне показалось, что я впервые увидал, как красива наша изба. Хотя все избы в нашей Каменке были тоже кирпичные, за исключением Карапетовой, Пантюшкиной, глухой бабки Маруси и ещё одной, Фомичевых, в которую потом переедет бабка Маруся, а свою снесёт, но наша была изба из совсем особого кирпича, как мне тогда показалось. Окна наши были весёлыми в отличие от соседских. А тополь, берёзка и ракета перед избой были настолько красивы и не похожи ни на чьи, что я вдруг загрустил от моей любви к ним и заплакал.

За амбаром меня звал ещё кто-то, потом ещё и ещё, а я не мог отозваться. Я уже готов был выйти за амбар к ребятам, но мне мешали слёзы. Я спешил остановить их, как говорят, глотал, а они бежали, скатывались крупными дождинами к губам, солёные-пресолёные.

В амбар вошёл Лёнька и спросил:

— Лёнь, болит?

— Не, — ответил я.

— А чего же ты? Мы тебя звали, а ты... Ты пойдёшь с нами?

— Пойду, — ответил я. — Только когда мать уйдёт.

— Там и Столыпин пришёл, и Ванька Сербиян, и Васька Федосеичкин пришёл, и Кривой пришёл. Все там. Я вот тебе что принёс. Это бабушка дала. Пойдём к нам — она ещё даст.

Я смазал слёзы и вышел из амбара. Ребята окружили меня. Они были веселы, счастливы, словно к ним вышел их жоак, предводитель. Они совали мне всё съедобное и спрашивали, больно ли мне руку, просили показать её, потрогать лубок. Они пихались, чтобы кто-нибудь не приблизился ко мне неосторожно и не ушиб бы меня.

Всей ватагой мы сошли к пруду. Лягушки на берегах были уже редки: частью они были истреблены нами, частью гусьями с утками, а оставшиеся уже при-прятались в ил.

— Давайте бороться, — предложил Васька.

— Ты что? — возразил Шурка Беленький. — У Лёньки рука болит.

— Давайте за яблоками полезем, — сказал Ванька Сербиян. Он забыл, что сад сторожил Шуркин отец Филипп.

Я толкнул Сербияна ногой. Он догадался и сказал:

— Мы не в колхозный сад, а к кому-нибудь.

— Я не полезу, — сказал я. — У меня рука. Мне нельзя.

— И я не полезу, — поддержал меня Лёнька.

— И мы не полезем, — сказал Колька за себя и за брата Тику.

— Давайте лучше охотиться, — сказал Шурка Беленький. — Колька, веди Тобика.

Колька Столыпин поддёрнул рваные портки, почесал живот и стал свистеть. С горы с тьявканьем скатился белый в коричневых яблоках Тобик, от молодости ещё нетвердо-лапый, костлявый, и принялся прыгать на каждого из нас, целовать всем руки, лица. Столыпин кричал на Тобика, не позволял ему признавать всех за своих, но он уже от каждого получал хлеб, не слушался хозяйской команды.

Я всегда боялся собак и теперь насторожился, заметив любопытный взгляд Тобика на мою руку. Все столыпинские щенята всегда почему-то приставали ко мне, терзали меня за штаны. То ли они догадывались о моей боязни перед ними, то ли чувствовали во мне своего недруга, хотя я с радостью заимел бы щенка, если бы мать не говорила, что ей с нами не управиться да ещё собаку кормить.

Мы пошли через плотину к выгону. Под плотиной в репейнике летали щеглы.

— Эй, ребята, щеглы! — крикнул Шурка Беленький, схватил ком ссохшейся глины и бросил в птичек. Он был проворный и меткий. Ребята тоже ввязались в охоту. Тобик сбежал в бурьян, прыгал за комьями.

Щеглы перелетели за ручей, туда было уже не добросить камень. Я повернулся и пошёл от ребят к дому. Они погнались за мной, стали уговаривать идти с ними, доказывали, что они бросали в щеглов просто так, вспугнуть их. Я дошёл до тропинки и спустился к плотине, пошёл мимо ручья, низом. Они догадались, что я не решился идти открыто через выгон, обежали овраг и скатились ко мне.

На охоту мы пришли к риге, где было много ям. Тут когда-то обжигали для изб кирпич. Ямы заросли крапивой, и

нам казалось, что в них должны были водиться разные звери. Но найти мы никого не смогли и направились к лесу. Всё шло хорошо. У леса-то кто-нибудь да нашёлся бы. Но Тобик вдруг стал нападать на меня, норовил цапнуть за вывихнутую руку.

— Забери его, — сказал я Столыпину.

— Да он играет, — ответил собаковод. — Смотри, я несколько не боюсь его.

Тобик не обращал внимания на хозяина, свирепея, бросался на меня. Я отступил в сторону, но пёс обозлился пуще, хватал меня за ноги, разорвал штанину. Я пустился бежать к конюшне. Тобик летел за мной, чуть ли не сбивая меня лапами. Ребята бежали следом, хотели остановить его.

Я добежал до конюшни, вскочил на телегу. Из соломы в телеге торчал хлыст. Я выхватил его и с левой руки стеганул Тобика. Он взвизгнул, крутнулся по траве и с жалобным тьяканьем понёсся через выгон к дому.

— Тобик! Тобик! — закричал Столыпин.

Пёс не остановился. Столыпин подбежал ко мне.

— Ты за что его? Он тебя не трогал, а ты дубинкой... Убил. Сам побег, а Тобик виноватый.

Я слез с телеги. К нам подошли ребята. Лёнька вступился за меня, встав перед Столыпиным:

— Говоришь, не трогал, а кто гнался за ним, за большую руку хотел укусить? Не Тобик, да?

Лёньку поддержали Пататанчики, а рядом со Столыпиным встал Сербиян и кивнул Ваське быть на их стороне.

— Мне домой пора, — сказал Васька.

— И мне домой, — отступил Шурка Беленький. Столыпин хотел драться за Тобика, надеялся на Ваньку Сербияна, потому что он был старше каждого из нас.

Я был с одной рукой. Колька с Тикой не решились, за кого им вступить. Победить нас ничего не стоило. Но я решил не сдаваться, выступил вперёд и сказал:

— Сербиян, не лезь. Я один на один с ним выхожу.

Я поднял вверх левую неуклюжую руку, которой крепко наградил Тобика, шагнул к Столыпину. Он испугался, отбежал, оправдываясь:

— Я ничего. Ты что лезешь?

— Узнаешь сейчас, чего ничего, — пригрозил я.

Столыпин повернулся от меня и пустился к дому следом за Тобиком. Я не погнался за ним далеко, вернулся к ребятам и сказал Сербияну:

— Ас тобой мы больше не играем. Понял?

— Да, не играем, — подтвердили мои заступники. Сербиян пошёл домой. Мне стало его жалко.

— Вань, ладно, вернись. Пойдём с нами. Пойдём в нашем рву рыть пещеру.

Он не вернулся. Мы направились к нашему дому, где был овражек с глиной, и мы там рыли себе пещеру.

ЛЕТО — ЛУЧШАЯ ПОРА БОСОНОГИХ

Братья Пататаны, Шурка и Колька, зимой бегали босиком и в одних рубашонках. Выходить кататься или играть им было не в чем, а в избе сидеть надоедало. Они выскакивали, пробегали по снежной дороге, влетали в нашу избу и вскарабкивались на печку отогреваться. Шурка был тщедушный, болезненный, а Колька толстый, круглый. Ноги у него были короткие. Бегал он быстро, потому что силы в нём было много, он летел по дороге, словно пушечное ядро, ноги запутывались, он падал и, кувыркнувшись, а точнее, прокатившись, будто шар, вставал, говорил: «О, змей её возьми! Упал». Шустро осматривался вокруг, отряхивался, зализывал ссадину, если она случалась, и снова бежал с прежней лихостью. Так он бегал летом, так бегал и зимой. Шурка бегал только зимой. Летом он был степенным. Они прибежали к нам часто, топтались у порога босые и сопливые с холода, от печки отказывались и, получив какой-нибудь гостинец, уносились домой. У них умер отец, мой дядя по отцу. У матери с ними двумя остались ещё три дочери, их сестры. От беспризора и бедности они вольничали. И когда появлялись весной в снегу проталины, они бывали первыми открывателями летнего сезона босоногих.

Мы ходили в лаптях. Отец сам плёл нам лапоточки-бахилы. Они красивы и удобны для лазания по снегу. Мать дома ткала суконные онучи и ряднушки, новые шли отцу и для неё, а мы пользовались обносками. Тут был житейский мудрый расчёт. Протрётся отцовская онуча, мать ему подаёт новую, а протёртую делит на две онучки мне или брату — и будь рад.

В первое время ношения лаптей из-за этой обуви было пролито столько слёз, что измерить их можно, пожалуй, только лоханью, которая стояла у нас возле печки и нас в ней купали к праздникам. Наверное, один раз можно было бы выкупаться в собственных слезах, вылейся они разом в эту лохань. Слёзы лились по той причине, что в малолетстве не сладить было с онучей, поверх которой надо было наверхнуть ещё и ряднушку.

Утром, проснувшись, слетаешь с печки, съешь ноги в сношенные отцовские лапти-ошмётки, как в тапки, и двигаешь их, не отрывая от пола, к порогу.

— Раздевши-то куда пошёл? — останавливает мать. — На улицу не выходи. Мороз там нынче.

— Не, я на двор.

Вылезешь в сени, вместо двора — шмыг на улицу. Солнце между двух радужных столбов над полем, кипящее, почему и угадывается лютость мороза. Снег искрится и слепит глаза. Сверху бабы воду несут от Захарова колодца на питьё. Там какая-то особенная вода. От конюшни разъезжаются подводы. Смотрю на всхохливших воробьев у амбара, на ворон у конской водопойной тропы, на сидящих по высоким деревьям на макушках молчаливых сорок, что тоже значит к сильному морозу. И чувствую, как тело связывает холод, кожа стягивается на боках, на спине, вытягиваются уши. Пора в избу, но не хочется уходить от этого зимнего простора и утреннего сияния. Скоба на двери белая от мороза. Я слюню палец и приставляю к ней. Палец прихватывается к скобе, словно попадает в чью-то жадную пасть. Отрываю в испуге: вдруг на всё время при-морозится. Будешь до весны примороженным к дверной скобе. Будут открывать дверь — и ты вместе с дверью будешь туда-сюда двигаться, открываться и закрываться.

Палец защемило, но следов на нём никаких не осталось.

«А что, если языком? — подумал я. — Интересно будет».

Я решился лизнуть скобу языком, потянулся к ней, предвкушая приятные и неведомые ещё мне ощущения, но скрипнула избушка дверь и мать прокричала:

— Лёнька, ты долго там будешь? Простудишься, захвораешь, дыши потом на тебя.

Слова эти надо понимать не в прямом смысле. Это значит, что потом, если ты захвораешь, переживай за тебя, болей, дыши на тебя в слезах по тебе же. Какой ты ни на есть, а тебя жалко.

— Да иду я, — отзываюсь.

«Да» приставляется и для выражения неудовольствия, что тебе не дадут лишнюю минутку побыть на воле, и для того, чтобы показать что ты уже не ребёнок, не нолик, а повыше — единица, человек.

— Вот дакну тебя выйду, дакну, — грозит мать.

Не успел, не успел я попробовать скобу языком — мать помешала. Вот какая мать! Я лезу в избу, лапти-ошмётки остаются за порогом в сенях. Перегибаюсь через порог, ищу их рукой там, в холоду.

— Закрывай дверь! — требует мать. — Холоду в избу напустишь.

Она подходит к двери и тут же из-за порога бросает к печке ошмётки и приговаривает:

— И когда ж вы разума наберётесь? Всю голову вскружили! Никакой жизни от вас нету...

А я уже на печке, рассматриваю обожжённый морозом палец.

Но дома мы уже не все. Отец на конюшне. Хотя завтракать он ещё придёт, а Мишка уже в школе. По запаху я догадываюсь, что у нас на завтрак саломата, и мне становится жалко Мишку. Мы будем есть саломату — это заварная каша из ржаной муки, очень вкусная, — а он будет там учиться-мучиться, как говорила моя мать, поучившаяся лишь чуть-чуть, когда у нас начались колхозы, а она была уже немолодая. Учил нашу мать и всех других матерей Мишкин учитель из Глотова Алексей Сидорыч Лякишев. Учил он их в пустой избе, где зажигали керосиновые лампы, ставили чёрную доску, на которой он писал ровные, внушительные и понятные буквы, чтобы эти тётки-бабки переписывали их в свои «китратки». Изба эта была когда-то моего деда. В ней родился мой отец. И мне было не всё равно, что учат этих тёток-бабок в дедовской избе. Я был горд. И меня злило, что эти все тётки-бабки не понимают букв, когда буквы все такие большие и понятные. Мы, кто ещё не учился в школе, сидели у порога и были свидетелями всей трудности познания грамоты.

Написав на доске букву «А», учитель спрашивал:

— Леонова Евдокия, какую я написал букву?

Моя мать вставала, поправляла платок, волосы, рдеясь, спрашивала:

— Это какую? Слева какая, или справа?

— Я написал одну букву, одну! — терпеливо повторял учитель.

— И я думала, что одна, а она раскорячилась, как две их, да перекладинка промеж них, вроде подружки за руки взялись — разбери тут, поди.

— Я же говорил, какую букву пишу, — раздражался учитель. — Разве вам не понятно?

— Говорил, — соглашалась мать. — Я разве против?

— Леонова, садись, — сказал учитель. — Плохо. Мать заплакала. Я вскочил и закричал:

— Мам, это же «А», «А». Ты её знаешь.

— Знаю, сынок, ещё бы мне её не знать. Вы, пока росли, этим «а-а» все уши прокричали.

Мать встала из-за стола, надела коротайку, повязалась шалью и сказала:

— Пойдём, сынок, к своим делам. Пускай они тут мучаются.

Я не хотел уходить. Учиться было интересно. На чёрной чистой доске от мела в руке учителя появлялись белые красивые буквы, а тётки и дяди выводили буквы корявые, хромоногие. Работать умели все, а писать в детстве не научились. Я и то написал бы любую букву, думал я, если бы только меня пустили к доске.

Мать повела меня за руку. В сенях я споткнулся.

— Мам, побудь ещё тут.

— Пойдём, пойдём. Раньше надо было нам учиться, когда маленькими были, а теперь поздно. А раньше-то не пускали нас на учёбу от бедности. Работать с малства заставляли.

Была зима. Мы пошли с матерью по скрипучей снежной дороге к дому. От снега и от звёзд с месяцем было светло и красиво.

— Ладно, мам, — сказал я, — ты не плачь. Я пойду в школу когда, научусь читать и писать и тебя научу. Мишка наш лодырь какой-то, не хочет тебя научить, а я научу.

— Он книжки нам вслух читает каждый вечер, — сказала мать. — От книжек тоже наука. — Мать пошла тише. — Отец не ждёт ещё нас, а мы явимся.

И мы явились в избу с мороза. Отец доплетал лапоть, а брат решал задачки. Он отнимал и прибавлял. Отец заглядывал в его тетрадь и был доволен его умением и знанием арифметики. За отличную учёбу он любил Мишку и считал его поэтому уже совсем взрослым. Полинка спала. Отец быстрыми движениями подбил лапоть, простукал всю подошву ручкой свайки, повесил лапоть на гвоздь и сказал:

— Ну, вот и я справился. Щец, что ль, налить? Уж и есть запросилось.

Мать бросила тетрадь на стол. Из тетради выкатился карандаш. Села в простенок и заголосила:

— Не могу, не могу я больше этим заниматься. Не по мне эта наука. Пускай они вот учатся, — показала она на нас с братом, — а мне только бы обувь-одеть да накормить ораву досыта. Куда они меня в ликбез ихний гонят?

Отец смеялся. А мне было очень жалко мать. Я подошёл и встал рядом.

— Мам, ты не плачь. Я же сказал, пойду учиться и научусь, и тебя научу. Я не буду кричать на тебя.

— Ладно, не буду расстраиваться. Чего, правда, я в рёв пустилась? Не идёт наука, да и пусть её. Проживу и так.

На следующее утро под окном заскрипел снег. Отец подъехал к дому. Мать выставила на загнетку из печки саломату, заторопила:

— Сынок, за стол, — крикнула в сени: — Отец, торопись! Саломата стынет.

Изба наполнилась запахом необыкновенно вкусной мучной каши и топлёного масла.

Отец уехал, а я принялся обуваться. Мать была в делах, не подходила ко мне. Я накручивал на ногу онучу. Брался за ряднушку, а онуча разматывалась. Вначале я усердно пыхтел, потом хныкал, а затем ревел. Самому мне было не справиться с лапотными принадлежностями.

— Когда ж ты уразумеешь это дело! — нервничала мать. — Какая тут сложность? Навернул онучку, придержи, сверху наверни ряднушечку, надень лапоток, замотай вокруг ноги верёвочки — и гуляй себе на здоровье.

На словах-то всё просто. А уроки обувания трудны. Я легче азбуку изучил. От брата перенял букву за буквой, а с лаптями справился, когда прошло несколько зим.

Брату Лёньке было лучше. У него в Москве жил дед Серёга и присылал ему на зиму валенки. Он всегда приходил за мной, когда я ещё был босым. Я почему-то не завидовал ему. С валенками тоже много беды было. Полезем по сугробам, проваливаемся по пояс — Лёньке в валенки снег засыпается, а нам, лапотникам, никакого беспокойства. И потом через многие годы мне очень пригодилась наука обувания. Сказалась она в армии, когда нам старшина выдал сапоги с портянками. Я с закрытыми глазами и раньше всех, по всем солдатским правилам, что самое важное, намотал портянки и натянул впервые в своей жизни на ноги сапоги.

Зима у нас была долгая. Мы с нетерпением ждали лета. И оно наступало. Наше ребячье лето начиналось с первых проталин, когда можно было разуться тайком от родительских глаз и пробежаться по проталине. Тем, кто и зимой бегал полубосыми, бывало проще. А нам попадало за ранние встречи лета. А ещё наше лето начиналось с чистки плугов.

Старшие ребята, учившиеся в школе, на лето определялись в пахари. Лишь расходилась весна, они выбирали день, шли к колхозному сараю, бросали жребий: кому какой достанется плуг — чистили лемеха, смазывали колёса, подбирали ваги с вальками и делали деревянные лопаточки для очистки лемехов от земли. Использовали заранее припасённый мягкий кирпич, суконки и пузырьки с керосином. В это время они становились нежными с нами, младшими братьями, не прогоняли нас от себя и, когда заканчивали делёж плугов, задавали нам жаркую чёрную работу — чистить заржавевшие за зиму лемеха. Я, разумеется, помогал своему брату. Я знал, что летом он даст мне попахать, и поэтому работал, старался изо всех сил. Ребята, у кого не было старшего брата, прилаживались к кому-нибудь; у кого не было младших, работали тоже усердно, потому что за лень можно было получить тумака.

Лемеха должны были быть зеркальными. Я то и дело смотрелся ещё в ржавый, красно-рыжий от кирпича металл. Мне хотелось скорее увидеться в его блеске. Мне нравилась вся эта затея, но работать руками я не любил особенно, когда работа была простой и однообразной. Старался придумать специальную машину или приспособление, чтобы они совершали за меня дело, а я бы ходил руки в брюки и смотрел на своих друзей, обливавшихся потом.

— Не лодырничай, — слышал я предупреждение брата. — Три веселее, а то последним отсюда пойдёшь.

— Я тру. Не видишь, что ли?

— Вижу, как ты трёшь.

Брат отдавал мне свой сошник, в котором уже желтела сплюснутая, длиннощёкая физиономия, переходил к моему и подгонял работу.

— Солнце на обеде, — замечал я.

— Работай знай, — останавливал брат.

— Мать ждёт теперь, а мы не идём.

— Я вот тебе пойду!

— Да, сколько его тереть? Он уже блестит.

Мои сверстники ловили ухом слова, отстранялись от дела.

Я получаю по шапке, вскакиваю со слезами, заявляю:

— Ты так, ты дерёшься? Дерёшься — работай сам! Нужно мне дюже...

Я отхожу подальше, чтобы не досталось ещё. Откладывают кирпичи с тряпками и другие.

— Это куда? — раздаётся крик.

Мы уносимся из подневоли, разбрызгивая наводняев-ший снег. В нас летят тяжёлые снежки. Мы не лодыри, нет. Мы ещё не доросли до умения доводить начатое дело до конца. Нам скучно, надо сменить занятие.

— Ребята, подождите, — говорю я у дома. — Хлебца возьму, пойдём ручьи проводить.

Коврига хлеба, которую начали, лежала у нас всегда на конике, в углу скамейки, на которой сидел отец. Он брал ковригу, нарезал ломтями хлеб и опять клал её на место, накрывая рушником. У других хлеб куда-то прятался, к обеду приносили и уносили его. Мой отец, наверное, не любил попусту тратить время и силы, держал хлеб под рукой. В избе Полинка играла со своими двоюродными сестрами, Парашкой и Лялькой. Лялькой звали Лёнькину сестру Шурку. Парашка была сестрой Пататанов.

— А где мать? — спросил я.

— Не знаю, где мать.

— Чтобы не баловаться тут, — предупреждаю я.

— Хозяин какой нашёлся! — грубит сестра.

Я даю ей тумака. Возражать ещё вздумала старшим. Она хнычет, угрожает сказать матери, что я её бил и что брал хлеб. Я отрезаю от ковриги две горбушки, солю их, из печки со сковородки кладу в карман три печёные картошки и выхожу на улицу.

— И что картошку брал, скажу. И соль... — кричит сестра вслед.

Я беру у стены дубинку и иду проводить ручьи.

Колька с Тикой тоже ушли за хлебом. У них дома бабка Фёкла. Она сторожит от них всё. Она не жадная. Она просто не может понять, что внуки прогонялись, наработались уже и захотели есть. Она считает своим старым умом, что всё на свете должно соотноситься с её желаниями и привычками. А желания у неё: ребята не ели бы с излишком, не гонялись бы попусту по деревне, из дома соломинки не выносили бы и, что ни попадётся им под руку, несли бы в дом.

Мы долго ждали Кольку с Тикой. Я разделил хлеб с картошкой ребятам. Столыпину дал. У них хлеба нет. Он стал просить у каждого. Каждый ещё отломил ему по кусочку.

— Скоро они там? — проявил нетерпение Васька Федосеев.

— Когда бабку обманут, — сказал Лёнька. — Она за Тикой пойдёт следить в сенцы, а Колька тогда берёт хлеб.

Наконец они вышли. Бабка следом появилась на пороге, останавливает:

— Колька, Витька, — так зовут Тику, — вы чего у меня взяли? Дайте-кося погляжу. — Она ругает их, потом даёт наказ: — Вы где чего найдёте, не кидайте, домой несите.

Колька с Тикой смальства привыкли всё найденное носить домой бабке и носили, пока насмешек не нажили над собой. Однажды я вдруг назвал бабку Фёклу бабкой-находкой, ребятам понравилось новое прозвище, и стала Фёкла бабкой Находкой, а Колька с Тикой Находкиными ребятами. Застыдились они, и пришлось им потом тайком находки в дом таскать, потому что бросить эту привычку разом оказалось им не по силам.

Самые первые ручьи появлялись у Машковых. Здесь сходила дорога под горку, был припёк. Тут мы и останавливались помогать весне сгонять под гору с полой водой надоевший всем снег.

Работа на ручьях была кропотливая. Надо было в снегу пробить русло, пустить по нему поток, потом делать запруды, запускать щепочки, прорывать запруду и пускать поток под гору. Всё это делалось палками. Лопат нам не давали уносить далеко от дома. И вот, когда кораблик-щепка несётся по дорожной колее под гору, ты тоже скачешь рядом. И не важно, что лапоть попадает в лужу, что онучи уже тёмные от воды, холод вдруг просочился к пальцам, охватил пятки. Главное, не отстать от корабля и провести его дальше всех.

До победы бывало далеко, потому что ближе оказывался обед, и по деревне поднимался крик, созывание на обед. Задерживаться в таком случае бывало опасно: придёт брат и погонит тебя к дому на всех скоростях. Брат мой понятливый, и хвалят его все деревенские за тихость, но церемонии со мной он не разводит, воспитывает строго.

— Намок по уши, — говорит мать, встречая меня. — Когда же ты успел? Ты на работе был с Мишкой.

— Сбежали, — говорит Мишка. — Всё наш лентяй... Ребята за ним. А мокнуть на ручье не устали.

Мне велено сразу разуваться, пока не налита похлёбка, погреть ноги на горячих кирпичках — и обедать. После обеда сидеть дома: лапти мокрые.

На первых проталинах у нас начинается игра в чижика. Ещё до таяния снега мы всей оравой сходили в лес за палками, запарили их в печке, ошкурили, подсушили. Игра эта простая, но заманчивая. Круглую палочку сантиметров двадцать длиной с заострёнными концами (чижика) надо из квадрата (черты) выбить большой палкой (биллом). Но сначала кто-то чертит квадрат, который мы звали чертой. Величина черты полметра на полметра. Потом начиналось «хватание». Кто-то берётся за конец палки ставит её вертикально, другой берётся рядом, затем следующий, если играют несколько человек, и начинается перехватывание рук: первый, взявшийся за низ палки, переносит руку к верхней, потом по порядку от низу перехватываются все. Тот, чья рука будет верхней на палке, бьёт чижика первым, следующий за ним водит. В центре черты выкапывается маленькая ямка, над ней кладётся кусочек дёрна или палочка, на которую и кладётся чижик, задрав конец над ямкой. Первый игрок бьёт по концу чижика биллом, в воздухе ударяет по его середине — и чижик летит на десятки метров от черты. Водящий бежит за чижиком и бросает его в черту. Если он попадает в черту, то так же бьёт чижика, а очередной игрок водит. Издали в черту попасть трудно. Тогда игра продолжается. Палка-билло заострена лопаточкой, которой чижик накатывается на неё, если он падает за чертой, подбрасывается, опять посылается вдаль, если не промахнёшься. Здесь уже сложнее отбить чижик подальше от черты. Не отобьёшь — с близкого расстояния водящий скорее отыграется, попадёт чижиком в черту, начнёт водить, а ты будешь в болельщиках, а потом и самому настанет черёд побросать издаലെ в черту чижик.

Игра эта занимала много времени, не надоедала почему-то, но иногда вдруг расстраивалась. Как и в любой иной игре, в этой тоже не обходится без споров. И если кто-то из спорщиков не уступит, то все бросают играть, разбиваются на партии — и на ручьи.

Жарче припекает солнце, больше проталин, шумнее несётся с полей к оврагам вода. Бывает, что видишь от дома, как с поля хлынет по снегу поток, зальёт всё чёрным илом, смытой с поля землёй и понесётся через выгон к ручью, который я мечтал превратить в реку. Теперь он сам по себе обратился в реку, несёт в пруд мутную воду. Из пруда через плотину сливается водопад. Тут не зевай, смотри за плотиной. Вода не должна переливаться из пруда на середине плотины. Ей отведён край, плечо плотины, где сток для воды заранее закреплён камнями, вплетены плетни и посажены ракиты. За пруд болеют все. Без пруда деревня не деревней станет: ни рыбы потом не будет, ни пополоскать тряпицы, ни искупаться, ни птице поплавать, ни скотине попить, а зимой не прокатиться на коньках.

В деревне ничто ненужное не береглось, не водилось такого. Пруд служил людям такой службой, что о нём можно написать целый роман. Ракиты на плотине росли тоже не зря. Они укрепляли корнями насыпь плотины, а в подмытых корнях летом караси метали икру, и потому никто не смел спилить хоть одно дерево.

Если мы видели, что вода пошла через плотину не на месте спуска, бежали на конюшню и поднимали тревогу. Там брался воз тяжёлого навоза и камней, привозился к месту катастрофы, засыпалась протока — опасность миновала.

Ниже плотины вода текла спокойнее, величественнее. Здесь шире русло ручья, больше разлив. Мы откалываем подмытый снег, пускаем корабли. Большие ребята, школьники, выбирают на ручей под вечер с большими кольями, отбивают на воду огромные снежные глыбы, смельчаки прыгают на них и совершают плавание, называясь папанинцами, тогда героев Севера прославляли, как сегодняшних космонавтов. Прыгнет один, второй — плывут. Находится ещё смельчак. Прыгает, да неловко — и все трое слетают по шею в воду. Выбравшись на берег, они без слов бегут по домам сушиться.

Деревенский овраг сходится с луговым оврагом. Здесь сразу телячий луг, ровный, без промоин. Вся полая вода, текущая по Дубняку из сада, на Телячьем лугу разливается во всю ширь, отчего этот лужок и называется ещё заливым, и трава на нём растёт густая, сочная и появляется раньше, чем на склонах. У леса начинаются овраги. Вода с каждой весной и в ливни размывает глину, углубляет овраг. От этого перед лесом поползла по склону земля, испортился сенокос. Я мечтаю, когда подрасту, насадить тут ракиток и задержать оползни.

В марте за неделю до моего дня рождения бывает самый весёлый старинный праздник. Называется он Сороки. По старым поверьям он праздновался в честь каких-то сорока мучеников. Никто не знал у нас, что это были за

мученики и за что они мучились. И если бы не считалось, что в этот день прилетают жаворонки, начинается птичья весна, мне этот праздник не запомнился бы. Тогда нам пекли из теста жаворонков с глазами-конопельками. Чаще всего мы делали их сами: брали тесто, раскатывали круглую лепёшку, загибали край, лепили птичью головку из загнутого, надрезали ножом крылья, пальчики и натыкали вилкой дырочек, обозначавших перышки. Такой калач подвешивался на нитку, как бы летел, напоминал больше сказочного жаворонка. Мы сговаривались по двое-трое, ходили с печёными жаворонками к омётам встречать мартовским утром настоящих жаворонков, которые, как считалось, приносили весну. Мы обходили вокруг омётов, напевали:

— Чу-виль-виль-виль. Весна-красна,

Ты на чём пришла?

— Я с сохой, бороной На кобыле вороной, На жёрдочке,

По бороздочке, На крылышках...

— Прилетели, прилетели. Чу-виль-виль-виль.

Иногда мы видели настоящих жаворонков, спешили рассказать дома, что прилетели, началась весна, а если не видели птичек, пусть даже каких-нибудь зимовавших, которых мы тоже принимали за жаворонков, всё равно считали, что они уже тут, а молчат от холода.

В марте солнце светит много, ярко, разрушает наст, а туманы «съедают» снег. В полях вытаивают дубовые листья, разнесённые зимними ветрами, полынки, комья. В небе звенят весёлые весенние песни жаворонков, похожие на журчанье ручейка. За эти песни мы любили их и никогда не разоряли гнёзд.

Спадает половодье, убирается с выгона снег, подсыхает земля на полях, и мы уже, выйдя на выгон, разуваемся, прячем лапти и носимся босиком, боясь лишь сухих прошлогодних татарок (так у нас зовут колючки, которые по-научному считаются чертополохом поникшим); и есть другая колючка, иголки у которой очень длинные. Я не раз наступал на такие колючки. Они не только колют, они остаются под кожей, потом от них нарывает нога.

Однажды летом я бежал через выгон. Никто за мной не гнался. Я бежал от радости к дому. Отчего на меня напала радость, я хорошо не помню, кажется, что кто-то откуда-то приехал, городской, с гостинцами. Я летел во весь дух, не глядя под ноги. И вдруг словно ножами полоснули мне по подошве. Я прыгнул раза два на левой ноге, сел в траву и сжал правую ногу у щиколотки, боясь взглянуть на подошву. Я догадался, что случилось.

Боль в ноге пронзила меня всего, связала, окаменила. Я не мог даже сразу заплакать. Эта боль поднималась к груди, к голове. Я взглянул на подошву, сплошь утыканную крупными иглами колючки, между которыми столько было мелких, что меня охватил такой ужас, что я тут же простился с жизнью и заплакал. Я лёг на спину, подержал ногу вверх, потом сел и, поливая подошву слезами, принялся за операцию. Хорошо, что тогда я ещё сам не подрезал на руках ногти, а матери с отцом летом не до этого было, они и оченьгодились мне. Я осторожно вытащил самые крупные и болезненные колючки, потом убрал мелочь. Но одна осталась под кожей, заломилась.

Наступать на ногу было больно. Я пошёл на пятке, потом на носке, прихрамывая... Через три дня нога нарвала, надулся светлый волдырь с мой кулак. Он стягивал всю подошву. Я прыгал на одной ноге через дорогу, садился на траву и полз к пруду или катился, чтобы побыть с ребятами. Прокалывать нарыв я никому не дал, тогда отец выгадал время, запряг лошадь и повёз меня в Спешнево в больницу. Он решил полечить зуб заодно.

В больнице было чисто и пахло лекарствами. Доктор Разговоров взглянул на мой нарыв и взял что-то блестящее и острое. Я заорал, чем и рассердил доктора, рванулся бежать, но отец удержал меня. Доктор разодрал, как мне казалось, мой нарыв, обрезал больную кожу ножницами, промыл, забинтовал и отпустил меня. Скоро мне стало легко и хорошо. Посидев в прихожей на диване, я отделался от слёз и пошёл в докторский кабинет посмотреть, как лечится отцу зуб. Но доктор заругался на меня, не хотел показывать мне зубной процедуры, потому что я плакал, а плаксам не стоит глазеть, как лечат других. Мне пришлось дать слово, что впредь я не буду бояться лечения, и я увидел, как был вырван у отца зуб. Слово я своё сдержал. Потом, когда нам делали уколы и мои сверстники подводились к игле со шприцем с рёвом на всю деревню, я сам скидывал рубаху, сам подставлял лопатку или что другое, принимал укол...

Такая летняя жизнь деревенских мальчишек. Бегаешь вольно, радуешься солнцу, теплу, цветам — и вдруг ногу наколешь или с дерева шмякнешься, но. бывают и другие неприятности: баран боднёт, гусак долбанёт до синяка, пчела или оса ужалит, о камень ногу разобьёшь, сторож в саду поймает или на горохе, жеребёнок лягнёт или с лошади свалишься. Ох, а ещё цыпки на ногах сколько страданий приносят.

Цыпки эти начинают зарождаться ещё с первых шагов по проталинам, когда по луже прошлёпаешь, а то и через снег пронесёшься, ноги обдаст и водой, и холодом, и ветром с солнцем. За зиму кожа изнежится, к теплу привыкнет, а тут такие перемены.

Раньше всех цыпки появлялись у Кольки Столыпина, и держались они у него до осенних холодов. Ног он никогда не мыл по вечерам, никто за ним не следил. У нас было строже с чистотой. Отец возьмёт вечером и поведёт к пруду, помыть перед сном ноги. Идти не хочется, но идёшь, хныкая. А хныканье от того, что ты уже почувствовал на росистой траве, что сверху ступни кожа покалывается иголочками, саднит. И знаешь, что отец заставит сильно оттирать ноги мылом и мочалкой. Но чаще мы сами занимались мытьём ног. Мы собирались гуртом и уходили на пары за мыльной травой. Это такая с мелкими листочками травка, от которой при мытье ног получается мыльная пена. Когда нарвёшь такой травы, то сразу и пускаешь её в дело, пока не высохла.

Но больше у лета бывает забав радостных. Сошёл снег, а по лесу уже пробивается трава баранчиков, но ещё не вытянулись из сердцевинки вкусные стебельки с жёлтыми фонариками-цветками, а на парах уже покраснели толкачики, сочные и сладковатые. Их надо рвать и есть молодыми. Отцветут эти толкачики, повянут, и на их месте вырастут полевые ёлочки, которые и называют хвощом. Лекарственная эта трава, но не съедобная. Пропали толкачики, баранчики зажелтели, рви и их, поспешай. Они тоже недолго в соку. Вытянутся, задеревенеют — не разжуёшь.

На пары за толкачиками и в лес за баранчиками, которые по ботанике называются первоцветом весенним, мы ходили целой ватагой и приносили для дома на общий стол этой еды целые охапки. А за баранчиками по ржи вырастал сиргибус. Ещё его называют свербигой. Эта трава считается сорной, вырастает высокая, с жёлтыми, как у сурепки, цветами. Об неё можно косу сломать. Вкус у сиргибуса редечный. Её можно есть так и с хлебом и солью. И

сколько бы мы ни бегали по молодой ржи, когда в ней только-только грач скрывается, нас не ругали, потому что мы делали полезное дело: пололи рожь. А к тому времени уже и щавель подрос, тут уже ты должен ежедневно нарвать сумку щавеля на щи. За щавелём мы уходили далеко от дома, куда не доходили деревенские бабки. Иногда на сбор щавеля уходил весь день, потому что сперва мы наиграемся, а-потом выполняем задание. И ещё козельцы вырастали на смену сиргибусу. Это растение очень ядовитое, но сладкое. Мы его осторожно очищали и ели, не касаясь губами стебля. Бывало, другой не поостережётся, все губы болячками покроются и болят долго и больно. И если кто уснёт на траве, не заметит козельца, то потом болячки появляются на теле. Такие ядовитые козельцы, но нам они, несмотря на это, не вредили.

К сенокосу созревают ягоды...

Отец мой не всегда был конюхом. Он пахал весной землю, работал на сенокосилке, косил сено и косой, работал на жатке и крюком косил рожь тоже. Ещё он возил снопы в скирды, клал скирды, клал сено в стога, а солому в омёты. В колхозе он умел делать всё. Я всегда старался быть с ним на работе. Но была у него и такая работа, когда он меня с собой не брал. Летом, когда поспевали хлеба и появлялось первое зерно, он вместе с обозом увозил это зерно на станцию Чернь и сдавал его государству. Меня с собой он не брал, потому что было далеко. Но когда весной он выезжал пахать прошлогоднее картофельное поле, то давал мне ведёрко, вывозил к пашне и пускал по борозде за плугом собирать кавардашки.

Кавардашки у нас зовут перезимовавшую в земле или просто помёрзшую картошку. Тогда она чистится без ножа, как мороженое яблоко, бывает сочная, зеленовато-белая или серая. Из такой картошки мать готовила месиво и пекла лепёшки-кавардашки. В такое время мука береглась к лету, потому что от весны до новины была людям самая трудная работа, и требовалось хорошее питание, чтобы были силы.

Кавардашки были у нас самой ценной весенней едой. У нас было в колхозе много земли. Земля всегда рождала много хлеба. Отец и мать мои работали круглый год, брат, лишь кончалась учёба в школе, начинал пахать, боронить, возить сено в стога, возил солому от молотильного барабана в омёт. Работал он всё лето до школы, потом и я стал ходить на колхозную работу. Мы много наработывали трудодней. Трудодень — это всё равно, что отметка за выученный урок. Лёгкая работа стоила ноль пятьдесят сотых трудодня, потяжелее — побольше. Записывали по ноль пятьдесят сотых, ноль семьдесят пять сотых, по трудодню, по полтора, по два и по три. До пяти трудодней не доходило, потому что от такой работы протянешь ноги. Но вчетвером мы накапливали за год почти, тысячу трудодней, получали на них солому, яблоки, капусту, огурцы и хлеб. Но хлеб у нас быстро почему-то кончался, хотя мать пекла его всегда с примесью: то добавляла картошку в него, то весной конский щавель, то лебеду и даже гречневую лузгу и мякину — но нам его не хватало. Весной кавардашки заменяли хлеб.

Я набирал полведра кавардашек, относил на пашню, высыпал и опять бежал по борозде за плугом. Отец пахал тем плугом, который весной достался по жребью брату и мы с ним ладили его для работы. По жребью делились и лошади и распределялись земли, чтобы всё было по справедливости.

В первые дни пашни, когда плужные отвалы ещё не отшлифовались и земля была сырая, отец часто останавливал лошадей и очищал отвалы от налипавшей земли деревянной лопаточкой. Я не отставал от него, мог видеть и выпханную кавардашку, и отсыпавшуюся от плуга чёрную землю, и чёрных, словно земля, грачей, подбиравших червей и разных личинок. Грачи, как и я, ковыляли по борозде. Их было много, между ними сновали скворцы с воробьями и галки. Они тягались друг с другом, следовали за мной по пятам. Чтобы не было скучно, я придумывал игру, становился полководцем, а всех птиц определял в подчинённое мне войско и с этим могучим войском вёл тяжёлые бои с тёмными вражескими силами. Птиц, улетающих с поля к гнёздам, я считал моими связными, отправлял их с донесениями в главный штаб или в госпитали по ранению. Убитых в моём войске не было, и оно только побеждало врага.

Но подсыхала земля, отвалы становились зеркальными, блестели так, что в них можно было смотреться, тогда отец редко останавливал лошадей, земля не налипала на отвалы, а струилась от них, словно вода на перекате в ручье, коренья и травяное быльё он сбрасывал на ходу, и мне приходилось туго. Но скоро можно было разуваться, бегать быстрее, а кавардашек оставалось меньше. Они от тепла портились, работа моя сходила на нет.

Вскоре за кавардашками наступала щавелевая пора. Нам надоедала за зиму похлёбка (картофельный суп, чаще без мяса, вегетарианский), приедались кислые щи, тоже вегетарианские почти. «Почти» потому, что мать забеливала их сметанкой или молоком. В щавелевые щи на всех крошилось одно яйцо и добавлялась сметана. Они почему-то нравились нам всегда, не надоедали.

За щавелём я ходил всегда с радостью. Вначале брат брал меня себе в помощники, а потом я подрос и сделался самостоятельным сборщиком щавеля, сам сзывал дружков и водил их на самые богатые щавелём места, которые узнал от брата.

На первый взгляд в сборе щавеля ничего интересного нет: нашёл кустик, нагнулся да срывай его. Наполнил сумку — носи домой. Но на деле всё обстояло иначе. Ещё с вечера мы сговаривались идти с утра за щавелём в Гаёк. Гайком у нас назывался овраг с дубовым лесом по крутому глотовскому склону. Глотово — это соседняя с нашей Каменкой деревня. В Глотове была начальная школа, откуда и приезжал учитель учить наших матерей и отцов, и там учился мой брат, а потом и я. Протока, середина оврага, углубление, по которому весной и в паводки стекает с верховья и с полей вода, протока эта была границей между каменной и глотовской землями. Щавель мы собирали на нашей стороне, на южной, меньше освещённой солнцем, с более густой травой. Здесь может показаться недоразумением, что южная сторона оврага меньше освещена солнцем, но с оврагами это так. Склон южной стороны глубокого оврага обращён к северу, и солнечные лучи скользят по нему, не сушат землю, и трава здесь растёт гуще, сочнее, а северный склон выгорает. На северном склоне слаще бывают ягоды и раньше краснеют, а щавель мельче.

Через вершок Гайка проходила дорога к Глотову, и было до вершка рукой подать от нашей деревни; но мы заходили всегда от устья, а до устья надо было тоже прошагать не менее двух километров.

Моя мать всегда первая выходила на колхозную работу, рано топила печь, рано кормила нас завтраком, и я раньше всех готов был идти на щавелевое задание. Я надевал через плечо суму перемётную, обычно это бывала школьная сумка из-под книг, из холстины сшитая матерью, сумка брата. Я клал в неё хлебушка с солью и собирал

ребят, ходил за Шуркой Беленьким, брал Пататанов, Кольку с Тикой, Лёньку Смалькова, Сербияна и Ваську Федосеева. (Столыпин ленив был. Они варили щи из крапивы или свекольных листьев, что было ближе, под рукой. Мы ходили без него.) И мы через три дома от Васькиного скатывались на Телячий луг, шли с горячими спорами-разговорами или- с таинственным заговором к лесу, прыгивали у леса на глинистый нанос в протоке, усеянный мелкими камешками, шли под лесом к Гайку.

В мае лес наш бывал очень звонким от птиц. Прежде всего издали слышалось кукушкино беззаботное кукование. Я знал, что кукушка себе гнезда не вьёт, а находит гнёздышко маленькой безобидной пташечки, подкладывает в то гнёздышко яйцо и дразнит потом эту пташку своим беззаботным ку-ку. Но мы все считали, что кукованием кукушка считает чьи-то отпущенные на жизнь годы; считали и мы, останавливаясь, кому сколько осталось жить годов. Радостно было, когда кукушка не жалела тебе лет, но вызывала растерянность, прокуковав два-три и умолкнув. Ты ещё лишь начал понимать, как славно жить на земле, а тебе нагадана скорая смерть. Кто-то в таком случае старался отступить от гадания, но тут уже все уличали его во лжи и заставляли принять объявленный кукушкой смертный приговор. Я не боялся смерти, потому что был убеждён в своём долголетии и гаданье на кукушкином куковании считал про себя чепухой.

Наше появление у леса будоражило дроздов и сорок. Сорочки гнёзда подлежали разорению. Ломать их было трудно и почти невозможно, а яйца из них выбирались всегда. Теперь мне стыдно такое признание. Но так было у нас заведено: хищникам не давать жизни. Сейчас, когда много истреблено полезных птиц, выходят книжки, в которых написано, что птиц никаких уничтожать нельзя, ребята знают об этом, а мы народ были тёмный и по традиции разоряли многих невинных пернатых. Сорока — птица, как говорят, воровка, она может заглянуть и в скворечник, и в соседнее гнездо другой птицы, и в куриное гнездо в птичнике, вытащить яйцо, но какая ещё птица зимой накличет к вам в дом гостей? Помои выльются на снег — сорока подберёт часть отбросов, которые по теплу станут гнить и отдавать зловонием, размножать разные микробы. Она и мышь уберёт со снега, а на крупную падаль разом созовёт и воронью стаю, и лису с волком, потому что она не любит пировать в одиночестве, а стало быть, и не жадная. Сорока вам зимой мороз предскажет и оттепель, а в лесу и о крупном, опасном для вас звере предупредит. Ну, а если вам надо отдохнуть от трудов ваших, полюбуйте на эту птицу. Вы увидите и её осторожность, и необыкновенную хитрость с расторопностью, и красоту. В три цвета окрашено перо сороки: чёрный с белым да синий по хвосту и крыльям или зеленоватый, но кажется, что на сороке лишь чёрные да белые перья. Не символ ли в этой окраске тьмы и света или разума и невежества, добра и зла? Такая-то сорока птица. И полюбоваться ею можно и поразмышлять над её существованием...

Промоины за нашим лесом с каждым годом углубляются, становятся шире. Сразу за Телячьим лугом в них попадаются ржавые камни, мы считаем их железной рудой, раскалываем, ищем хоть крупицу железа, но кроме ржавых песчинок, спечённых, будто в огне, ничего не обнаруживаем.

Железо мы ищем не случайно. Старые люди помнили и рассказывали нам, что раньше, ещё при барине, тут «бурлили» землю, искали в ней руду, но не нашли и ни с чем уехали. Мы жалеем, что «бурлильщики» не нашли руду, стараемся сделать за них это открытие, внимательно рассматриваем каждый камень. Мы не верим, что в нашей земле нет руды. В ней всё есть. Наша каменная земля кажется нам особенной, в ней не может ничего не быть.

Ближе к Гайку — глубже воронки и промоины. С весны в воронках стоит вода. Не исчезай она быстро, как славно было бы в них купаться. Я позже узнал, что воронки эти называются карстовыми, что образуются они там, где под слоем почвы залегают известняки, легко размываемые водой. Известняки действительно выступали с боков воронок и на днищах. Здесь мы и проходили наглядные уроки физической географии.

Лес наш от деревни километра на полтора — сплошной дубняк. Дубы уже толстые. Только-только обхватишь ствол. Я горжусь лесом. Мой отец помогает леснику сторожить его, за что лесник даёт нам косить на полянах сено и вырубать коряжник. За дубняком — березняк, перепоясанный осинником. Границу между дубом и берёзкой заняла осинка. От этого наш лес мы считаем весёлым.

Добравшись до березняка, мы успеваем вволю набегаться по оврагам и промоинам, находим отдых. Здесь устье другого оврага, идущего от Села. На одном склоне оврага сельский лес, а на втором лысовский. В лысовском лесу, говорили, есть волчья нора. Но летом волки нам не страшны: нас много. Мы забираемся в березняк и начинаем играть в прыжки с парашютом. Для этого надо найти высокую гибкую берёзку, взобраться на неё, взяться крепко руками за ствол, раскачаться и, оторвав ноги, опуститься на землю.

Однажды, «напрыгавшись», мы направились к опушке, но Тика остановил нас.

— Ребята, ребята, смотрите, с какой я спущусь! — прокричал он с толстой берёзки.

Мы остановились. Тика раскачал вершину, потихоньку стал спускаться на землю.

— Не спустится, — сказал Васька. — Будет сейчас кино.

— Лечу! — крикнул радостно Тика.

— Лети. Лети! — крикнули мы ему.

Берёза слегка изогнулась и остановилась. Тика поболтал ногами, но остался висеть высоко над землёй.

— Колька! — позвал Тика брата тревожным голосом.

Колька не отозвался. Тика посмотрел вниз и снова поболтал ногами. Поднять к стволу он их не мог, а перебираться по стволу на руках не был натренирован.

— Тика, внизу острые пни, — предупредил Шурка Беленький.

— Колька, помоги мне, — взмолился незадачливый парашютист.

— А что дашь за это? — спросил Колька.

— Я отцу скажу. Он тебе даст! — пригрозил Тика.

— Говори, — ответил ему Колька. — Мы уходим. Лес огласился с высоты Тикиным рёвом.

— Волк, ребята! — крикнул Шурка Беленький.

В одно мгновение ни одного из нас не осталось на земле. Мы по-обезьяньи взбирались на берёзки. Тика замолк.

— Шурка, где волк? — полушёпотом спросил Сербиян.

— На лугу был, — ответил Шурка.

Когда я оказался на берёзе и взглянул вниз, то пожалел, что выбрал тонковату. Волку такую ничего не стоит подгрызть. С моей берёзки просматривался весь луг. Я увидел крадущегося рыжего зверя, взобрался выше и скомандовал:

— Всем на землю! Там лиса.

С берёзовым шумом я быстро приземлился и свистнул в четыре пальца в сторону луга. Лиса метнулась испуганно и скрылась в Лысовском лесу. Тика опять заголосил со всем отчаянием.

— Не реви, — сказал я. — Сейчас помогу.

Пока ребята приземлились, я вскарабкался на берёзку рядом с Тикой, сказал ему:

— Держись крепче и давай мне ногу.

Я схватил его за порточину. Но на штанах оторвалась застёжка, и они спланировали в траву без Тики.

— Лёнька, держи крапиву! — кричали мне с земли. — Крапивой его. Он побрыкается и спустится.

— Падаю я! — кричал Тика.

— Подержись ещё, — сказал я. — Сейчас за ветки поймаю.

Я поднялся выше. Моя берёзка еле сдерживалась, качала меня кругами. Вдруг я поймал ветку Тикиной берёзки, потянул на себя — и мы соединились.

— Падаю, падаю, падаю, — расслышал я.

— Погоди, погоди малость. Сейчас я...

Долго описывать какое-нибудь событие, но на деле спасание проходит быстро. Я взглянул на ствол Тикиной берёзы, определил, что сломаться он не может на таком расстоянии от земли, когда я перецеплюсь со своей берёзки на его, а сломается, то мы будем уже у земли и никакого вреда нам не сделается.

Я взялся за его «парашют», отпустил свою берёзку, ногами опоясал Тику по голому животу для поддержки, приземлил его благополучно на холодную лесную траву. Он откатился от берёзки, удерживаемой ребятами за ветки, и стал вытирать слёзы и верхнюю губу подолом рубахи. Колька подал ему штаны.

— Надевай, пузатый. Не умеешь спускаться, другой раз не суйся.

— Сам умеешь дюже, — ответил Тика.

Колька залепил ему по голове. Тика набросился на него. Он был моложе брата, но покрупнее, не уступал ему. Они стали валтузиться. Мы их борьбу знали давно. Они будут гонять друг друга, с нами уже не пойдут и, пока не достигнут дома, всё будут вести петушиную драку.

В тот же день совершилось с нами ещё одно приключение. До щавельного рубежа мы добрались к обеду. Нас стало меньше, стало тише. Мы опорожнили сумки, делясь хлебом с солью. Погода оказалась душной, жаркой. Скоро собрались на небе кучевые облака. Предвиделась гроза.

— Ребята, тревога! — скомандовал я. — Скорее рвать щавель. Я рву с травой.

Мы мгновенно набили наши сумки. Облака чернели на наших глазах. Лес затих, словно в нём никогда не гнездились ни одной птицы. Подул ветер откуда-то сверху. Зашумели дубы.

— Ребята, в лес, в березняк, — дал я команду. — Строим шалаш!

Сверху по Гайку и по полям за нами несся дождь, шумел: «Догоню, догоню, догоню!» Над березняком сверкнула молния. По воздуху над нашими головами раздался сухой треск молнии, и громанул гром такой силы, что сотряслась земля. Мы остановились.

— Садись в кучку. В лес нельзя. Молния...

Холодные крупные дождевые капли пробили наши рубашонки. Мы сели в круг, пригнули к земле головы, подставив дождю спины. Он разом хлестанул по ним непрерывными струями и пошёл промывать нас до косточек. Тут же промокли от земли штанины.

— Ливень, — сказал Васька.

— Угу, — угукнули мы.

— Долго будет. Замёрзнем тут.

— Ливень долго не может быть.

Ливень хлестал по спинам. Небо разрывали молнии. Я сидел с закрытыми глазами, чтобы не видеть огненные стрелы — От них не жди добра. От ударов грома, казалось, рушилось небо, беспрестанно содрогалась земля.

— Страшно, — признался Лёнька.

— Чего страшного-то? — спросил я.

— Гром.

— От грома ничего. Молния убивает.

— Под дерево нельзя садиться.

Кто-то дико вскрикнул. Мы вскочили в суматохе и отбежали с нашего насиженного места. Мы оказались в ложбинке. С поля набежал ливневый поток, окатил нас тёплой мутной водой.

— Сумка! — крикнул Шурка и пустился под гору догонять сумку.

Внизу по протоке бушевала большая вода.

Гроза от нас ушла к нашей деревне и бушевала там.

— Айда купаться! — закричал Сербиян.

— Э, тут нельзя, — остановил я ребят. — Отец говорил, тут глотовский малый утоп.

— Правда, — поддержал меня Васька.

Ливень ослаб, перешёл в крупный, но всё ещё спорый дождь. Мы все разом услышали крик. Телу уже не было холодно от дождя, но при этом крике я вздрогнул, почувствовал вдруг холод.

— Э-эй, сюда! — донеслось от протоки.

— Ребята, это же Шурка Белый, — показал я на Шурку, махавшего нам рукой снизу.

— Нет, давай к нам, — ответили мы ему. — Идём к нашему лесу.

Там, где мы шли к Гайку, была настоящая бурная река. Соваться в неё было небезопасно. Мы были пловцы прудовой «стихии», где волна не разбушует, течением не захватит. Ливневый поток нас пугал. Ближе к деревне мы выбрали брод и, поднимая над головой сумки, перешли на безлесный склон.

— Ребята, скорее на Телячий луг, там теперь море. Искупаемся.

Когда мы подошли к Телячьему лугу, то в небе пробилось солнце. Оно, казалось, говорило: «Ничего, ребятки. Всё добром. Я опять с вами. Шалите себе на здоровье». В деревне было какое-то замешательство. Народ бегал с горы к воде и от воды в гору с криками.

— Утоп кто-то, — пустил панику Шурка.

По Телячьему лугу разлилась вода. Мы пустились по ней бегом. -Шурка Беленький вдруг поскользнулся, сел в воде и закричал:

— Рыба, рыба, ребята! — Он вскочил, бросился животом в воду, забултыхался и сообщил: — Поймал.

Он поднял из воды большого карася. Мы все ахнули, но не от удивления — от зависти.

— Ребята, плотину сорвало, — сказал я.

— Эй, по ноге скользнула! — вскрикнул Лёнька.

Мы принялись искать рыбу. Караси из стремнины старались выходить на тихую воду, попадали на мель. То в одном месте, то в другом показывался из воды плавник, рассекал воду. Мы разбежались по лугу. Я высмотрел крупную рыбину, уносимую быстринной, бросился за ней. Тяжёлая сумка мешала. Я снял её, раскрутил и пустил к ближнему берегу. Сумка плюхнулась в воду, и из неё стал выплывать щавель.

Моего карася несло к водопаду. Я настиг его, падая, схватил руками и сам, как карась, понёсся в бурлящую воду. В водопад я ухнулся вниз головой, перевернулся там несколько раз и понёсся вперёд ногами.

Я не испугался, что утону. Я хотя и был под водой, но соображал, где нахожусь. Меня проволокло по илу, вода вынесла из водопадной выбоины. Карася в руках не было, выскользнул. Меня развернуло в потоке. Здесь протока поворачивала влево. Я всплыл. От воды поднимался на пригорок лес, освещенный последождевым солнцем. Я, как потерпевший кораблекрушение, подобрался к мели, сел, оставаясь в воде. Ребята неслись меня спасать.

— А вон он, вон, — закричал Лёнька, — выплыл! Ванька Сербиян пустился вдруг к берегу, бросил сумку и вернулся к водопаду. Не раздумывая, он сложил над головой руки и нырнул в водопад. Я видел, как странно мелькнули из воды несколько раз его ноги. Он был безволен управлять своим телом. Вскоре он оказался рядом со мной, замахал ребятам следовать за ним. Они не устояли от соблазна.

В лесу опять пели птицы. Я поднялся. По моему телу что-то скользнуло. В поспешности я загрёб воду, отплеснул к берегу и увидел карася. Через мгновение он снова оказался у меня в руках. Вода измучила его и он был смиренный, потому и сидел у меня под рубахой без излишнего беспокойства.

Шурка Беленький изловил трёх карасей. У нас было по одному. Лёнька оказался неудачливым рыболовом.

— Шурка, ты дай Лёньке одного карася, — сказал я. — У тебя всё равно больше всех останется.

— Не тут-то было, — ответил Шурка. — Пускай сам побегаёт да поймает.

Ребята стали настаивать, чтобы Шурка поделился, но он зажидничал.

— Пускай не отдаёт, — сказал я. — И пускай со своей рыбой домой отправляется.

— Да, уходи, — поддержал меня Васька. — Не уйдёшь — отберём твою рыбу.

Шурка нехотя отправился к деревне, а мы ринулись бросаться в водопад и бросались до тех пор, пока к нам не подошла с палкой Лёнькина мать. Она искала нас по Дубняку у провальных ям, где мы могли попасть в воронки. Бить она нас, конечно, не стала, а выговорила, что гроза давно прошла, ливень остановился, а нас всё нет дома. Мокрых, набегавшихся и нанырившихся она повела нас к деревне.

ШКОЛА ДОРОЖНОГО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

Можно подумать, что я сразу стал быстроходом, лишь выбрался из пелёнок и пошёл мерять необъятную землю своими ногами. Всё было иначе. Я не помню, когда совершил первый самостоятельный шаг и какие были интересные путешествия в отдалённые места, но свой первый поход с матерью в Село мне запомнился хорошо.

Мать моя родилась и выросла в Селе, где жил её отец, а мой дедушка Павел. Ещё там жили её сестры и братья. Она ходила всех проведать. А ещё в Селе был магазин, где заодно делались и покупки. Мать наряжалась в новую панёву в «золотых» позументах да бисере, наденет белую в цветочках кофту и полушалку красивую и пойдёт тайком от нас, чтобы мы не гнались за ней. Спыхватишься, куда это вдруг мать запропастилась, и увидишь на дороге к Селу, по походке и наряду узнаешь — она. Ушла, а тебя не взяла с собой. Всплакнёшь от обиды, погонишься, да далеко она, не догнать, вернёшься и ждёшь потом её с гостинцами.

Однажды, когда развились и окрепли мои ноги, мать взяла меня с собой в Село. Она умыла меня, нарядила в чистые портки и рубаху и повела. Я радостно и гордо шёл по деревне впереди матери, но за деревней на первом изволоке взялся за её панёву, а потом стал отставать, просился отдохнуть. Она уговаривала меня пройтись ещё, пробежаться да присесть у дороги, подождать её и отдохнуть разом, но ни бежать, ни идти я уже не мог, рано отправился в дальний путь. Тогда мать посадила меня на закорки, донесла до Села, а потом так же несла меня к дому. Ей было тяжело, а мне благодатно. Я готов был снова к походам с ней. Склонив голову на материнское плечо, я придремнул и вдруг сквозь дрему расслышал чужой голос:

— Тпру! Стой, коняга!

Я подумал, что нас подвезут, обрадовался, но подводы не увидел. Нам встретился дед Яша. Он каждое лето приезжал к сенокосу в деревню, жил до сентября в отпуске и всё это время работал в колхозе. Он ходил косить луга, потом клал скирды, омёты. А когда появлялась первая солома, молодая да свежая, ходил спать каждую ночь в эту солому, но ходил не один, а собирал с собой всех деревенских мальчишек и рассказывал им перед сном сказки и разные истории.

— Что тпрукаешь-то, — сказала мать, — лошадь ли я тебе?

— А кто ты? Вон какой всадник тебя оседлал, — ответил дед Яша.

Я разом понял, о ком ведётся разговор, соскользнул с материнской спины и отошёл в сторону.

— Большой он у тебя уже, а на спине катается.

— Ну, да какой он большой, — заступилась за меня мать, — малой ещё, ножки-то слабые.

— Большой, — сказал дед Яша. — Вот солома будет, я его спать в солому не возьму, если ещё хоть раз увижу на чьих-то закорках.

Я отошёл от них и зашагал впереди матери, стараясь раньше её прийти в деревню. Я шёл быстро. Дорожная пыль выдавливалась между пальцами, было интересно и забавно. Я видел следы птиц и насекомых на пыльной дороге, видел траву, цветы у кромок ржи.

В другой раз я шёл до Села и обратно сам, уже знал, как лучше идти: сзади или впереди. Однажды я увидел в Мишкиной книжке картинку, где ехал дядька на санях, а впереди него бежала собачонка. В избу тогда вошёл отец, спросил:

— Читаешь?

— Не, я так, — ответил я.

— Чего же так-то? Надо читать, раз взялся за книжку.

— Я картинки посмотрел.

— Ну, и что ты на них увидал?

— Всё, — ответил я. — Зима тут нарисована... Пап, а почему собаки впереди бегают? Вот, посмотри.

Отец посмотрел на картинку, прочитал подпись:

— «Зима». Хорошо нарисована. Зима настоящая. А собака потому впереди бежит, что отстать боится. Отстанет, а потом попробуй догонять. И волков, поди, побаивается. И ещё одна выгода впереди бежать: раньше до места добежит — отдохнуть успеет.

— А-а, — протянул я.

— Ну, а ты со мной не хочешь прокатиться? — спросил отец.

— Хочу. А куда?

— За песком съездим. Выпало времечко. Подвода под рукой.

За песком надо было ехать за Лысовский лес через Телячий луг, потом лесом по извилистой и ухабистой дороге, вилившейся мимо промоин и протоки. Сено на лугу было уже застоговано. С поля на лошадь налетали оводы. Было жарко. Лес молчал от жары, и птицы уже мало пели, словно ждали скорую осень, не радовались.

Место, где брали песок, называлось Лысовскими камушками. Оно не пахалось, потому что здесь лежали большие песчаные камни-глыбы. Вокруг нашей деревни были ещё Каменские и Коробчинские камушки. Потому, наверное, и деревню нашу называли Каменкой.

Отец поставил телегу у глубокой песочной ямы, лошадь выпряг и отвёл в кусты. На телеге мы с собой привезли лестницу. Отец опустил её в яму и стал расстилать по телеге попонку.

— Пап, можно мне в яму? — спросил я.

— Пока нельзя, — ответил отец. — Надо осмотреть сначала — не завалило бы её.

— А чем?

— Обвалится верхний слой, глыбой и придавит, похоронит в яме навечно.

Отец осмотрел края ямы, потопал над нависшим краем. Я тоже потопал, не зная для чего.

— Трещин не видеть, земля гудит, здоровая, — сделал он заключение. — Что ж, приступим к делу. Ты будешь пока наверху. Смотри в этом месте. — Он показал место. — Если вдруг появится трещина, кричи мне.

Он опустил на верёвке в яму ведро, взял лопатку с короткой ручкой и полез в земное нутро. Из ямы вылетали сонные мухи, падали от жары в траву. Отец опустился у лестницы на колени, копнул песок и стал на свету мять его пальцами, рассматривал и понюхал. Мне это показалось колдовством. Что его нюхать, песок этот? Я спросил об этом, но отец не ответил, скрылся под навесом ямы и стал оттуда бросать к лестнице песок. Я приподнялся и стал сторожить трещины. Лошадь фыркала и отбивалась от оводов, шумела ветками. По траве пробежала ящерица. Я чуть ли не крикнул, приняв ящерицу за трещину.

Из ямы вдруг выбрался отец, спросил:

— Всё в порядке тут?

— В порядке. Ящерица вот тут была. В норку спряталась.

Я показал отцу норку ящерицы. Он посмотрел и покачал головой.

— Тут на трещину больше походит, — сказал отец и раздвинул руками траву. — Да, вещь подозрительная. — Он нагрёб песку и стал сыпать в норку и рядом. Песок, словно вода, тёк в землю.

— Сейчас не обвалится, а потом может. Я ещё покопаю — да будем выбирать добытое. Ты найди палку или ветку, сухую только, поставим вешку в эту трещину, чтобы предупредить других.

— Пап, а когда обвалится, что будет? — спросил я.

— Беда будет, если человек в яме окажется. Похоронит там заживо. У леса были песочные ямы. Там одного чуть ли не присыпало. Успел как-то он выскочить. Инструмент его весь там остался.

— И не нашли потом?

— Кому надо искать? Да и глубоко там было. Из-за ведра с лопатой да лестницы с верёвкой не стоило копаться. Так что учти это: будешь спускаться под землю, оставляй человека наверху. Один не входи в земное царство. Туда всегда дверь открыта бывает, а назад можешь не выбраться, закроется та дверь.

Отец снова спустился в яму. Я нашёл большую ивовую ветку и поднёс её к яме. Отец набросал кучу песку, засыпал по нижнюю перекладину лестницу, выбрался наружу и вытянул верёвкой, словно воду из колодца, ведро с песком.

— Полезай, сын, теперь ты в яму, — сказал он. — Будешь мне помогать.

Я с боязнью слез в яму, где было холодно ногам от влажного песка, темно и жутко. Отец вытащил лестницу.

— Пап, а как же я?

— Тебе опущу потом. Сейчас она нам будет мешать. Наполняй песком ведро. Так у нас дело скорее пойдёт.

Я зачерпнул лопатой песок, но поднять его не смог.

— Ты без лопатки, — подсказал отец. — Клади ведро на бок и нагребай руками. Песок мягкий.

Когда накопанный песок кончился, отец велел встать мне в пустое ведро и крепко взяться за верёвку. Он поднял меня из сырой и тёмной ямы наверх. Солнце сильно ударило по глазам, ослепило. Я закрыл глаза рукой.

— Отвык от света, — сказал отец, f — Под землёй так. Крот потому и не выбирается наружу, что после подземелья видеть ничего не может.

Отец надломил на ветке сучки, привязал к ней пук травы и воткнул в трещину.

— Вешку оставим. Кто приедет, будет знать, что в яму лезть опасно.

— А почему будет знать? — спросил я.

— По нашей вешке догадается. Такой издавна сигнал у людей существует. Обнаружил яму, куда человек или животное может оступиться, ногу повредить — обозначь вешкой. На льду полынью заметил — и тут поставь вешечку. Люди спасибо за это скажут.

Отец запряг лошадь. Я поколотил на ней оводов и взобрался на телегу с песком. Дорога шла под изволок, отец тоже сел. Телега от тяжести скрипела и не подбрасывалась на ухабах. Лошадь шла к дому смирно. В лесу на полусклоне мы с отцом слезли с телеги. Отец пошёл рядом с возом, натягивал вожжи. Лошадь приседала на задние ноги, едва удерживала повозку. Я выбежал вперёд, но отец велел мне убраться с дороги.

— Возчик впереди лошади никогда не должен идти, — сказал он. — Его место на возу, рядом или за повозкой. На горе, если лошадь послушная, надо идти вот так, как я иду, править вожжами; бойкую лошадь надо под уздцы сводить, но под копыта не соваться; в гору с возом — шагай рядом или за повозкой, помогай коню. Зимой, без поклаши если, за санями идти греться — бойся. Лошадь вдруг испугается чего-нибудь, рванётся и убежит, а ты оставайся среди поля.

— И тогда волки съедят? — спросил я.

— Могут и волки напасть. Замёрзнуть можешь.

— Пап, а когда с матерью ходят, то где нужно быть? — спросил я.

— Тогда надо только впереди шагать. Мать будет видеть тебя, радоваться, что ты легко и красиво идёшь, и ей от этого будет легче шагаться. Понял?

— Понял, — ответил я.

Потом, когда мать меня снова взяла в Село, я сразу за деревней обогнал её и зашагал впереди. Тогда-то я и узнал как следует эту дорогу. Я шагал по мягкой колее. Справа тянулся неглубокий ров. Тут была старая дорога. Дороги, как и люди, бывают старыми. Весной по этому рву стекала с поля вода и делала его глубже. И по давней старой дороге уже никто не мог проехать. По бокам этого рва выросли дикие яблоньки. Зимой их обгрызали зайцы, яблони отрастали снова и становились колючими, чтобы защищаться от косых и скотины. На изволоке рос ракитовый куст. Когда пахали поле, то куст этот не трогали, опахивали кругом, не срубали. Он служил прохожим и проезжим надёжной вехой: разбухнет зимой непогодушка, прибудет человек к этому кусту, разом и признает место, определит верный путь к деревне. Со стороны дороги куст всегда обломан. Забудет ездок кнут — с куста ломает хлыст погонять лошадь, но он растёт себе и растёт.

Недалеко от куста проходил широкий травянистый рубеж. Он делил поле на наше и сельское. На рубеже всегда много росло клубники с земляникой и щавеля. За рубежом дорога сходилась в низинку и от этой дороги отходила другая, на Шеиново. В лошине росло два ракитовых куста. Место здесь сырое, на дороге выбоина, всегда залитая грязью. Справа за несколько метров в осоке колодчик. Я убежал от матери, сломил былинку и попил воды. Вода была ключами из синей глины, была холодной. Сверху на воде мокло сено, нападавшее в колодчик в сенокос.

Я вернулся на дорогу, когда мать сошла в лошину.

— Никак воду пил? — спросила она и сказала: — А мне принести, хоть губы смочить, не догадался.

— А как? — спросил я.

— В картузик зачерпнул бы.

— Сейчас, — обрадовался я и пустился к колодчику.

— Не бегай, сынок, обойдусь без питья, — покричала вслед мать.

Я не вернулся. Зачерпнув в картузик, как называли мы обыкновенную кепчонку, ключевой воды, понёсся с большой скоростью к матери и донёс ей несколько глотков воды. Мать похвалила меня — и мы пошли дальше. Но я всё же устал и чаще приседал у дороги на траву.

— Заморился ты у меня, — говорила мать. — Понести, что ль, тебя на закорках?

— Не, — отказывался я и поднимался на гудящие ноги. — Сам пойду.

— До озера дойдём, там ноги помоем да отдохнём с тобой вместе.

— Мам, а чьё это озеро? — спросил я.

— Общее теперь, — ответила мать. — А раньше барское было. Для барина с барыней вырыто было. Лошадей они поили тут, купались тоже сами.

— А больше никто не купался?

— Кто хотел, тот купался, но тут вода холодная была. Не всяк отваживался. Простуда могла пристать от холодной-то воды.

— Мам, а за нашим садом тоже бариново озеро? — спросил я.

— И там их. То побольше этого, — ответила мать.

Озеро было круглое, чашей. Когда мы подошли к нему, с воды поднялись две утки.

— Эх, сынок, спугнули мы с тобой крякушек.

Утки улетели через поле в сторону песочной ямы, там был мокрый луг, где они, наверное, и гнездились. Мы вошли в воду. Мать у края помыла ноги, обулась в самошивные суконные тапочки, а я зашёл поглубже и попросился искупаться.

— Окунись разок, — разрешила мать.

Я быстро стянул с себя рубаху, сбросил штанишки и влетел в воду. Вода была светлая и тёплая, но дно уже заилилось, и я разом замутил воду.

— Не холодно? — спросила мать.

— Тёплая, как парное молоко, — ответил я.

— Ну, и всё же выходи. Нам ещё путь предстоит, — сказала мать.

Я окунулся несколько раз с головой, проплыл и вышел. Ноги мои оказались в иле. Мать обмыла их мне.

— Скоро затянется озерко-то, — сказала она. — Жалко будет.

— А почему затянется?

— Пашню близко придвинули. Полая вода стала стекать сюда. И чистить перестали. Тут глубоко всегда было. А теперь тебе по грудь.

Предсказания моей матери сбылись. Давно уже трактора пашут это озерко. И лишь впадина напоминает мне то благодатное место. И за нашим садом тоже обмелело озерцо, где нам раньше купаться было опасно, потому что берега его были воронкой. Стоило ступить к воде, нога скользила и ты летел в холодную, обжигающую тело воду. Маленьким можно было купаться только при больших, когда они окунали нас, а потом выпихивали на берег. Озерки эти как будто никакой пользы не приносили людям, но это вовсе не так. Они поблёскивали чистой водой среди хлебов и трав. Воздух вокруг них был влажнее и чище. Днём в них отражалось солнце и облака с тучами, а ночью мерцали звёзды и качалась луна — и радостнее становилось человеку, когда он подходил к такому озерцу, легче бывал его путь, когда он остужал горячие ступни ног, руки и смывал солёный пот с лица. Они привлекали к себе птиц, диких зверей и домашних животных на водопой. Я уверен, что пользы от них было больше, чем теперь, когда с этого клочка земли снимают несколько килограммов ржи или картофеля. И не зря в народе родилась поговорка, что не хлебом единым жив человек...

Ходил я много и всё босиком. Если сосчитать пройденный мной путь по дорогам и бездорожью до моих хождений в школу, то наверняка будет тысячи три километра, а со школьными дорогами наберётся и тридцать тысяч, наверно.

В лето перед школой я бегал особенно много. Мать и отец говорили мне:

— Бегай, сынок, побольше. В школу пойдёшь — некогда будет бегать.

Я боялся, что и впрямь школа отнимет у меня эту радость, и устраивал с ребятами далёкие походы по своим и чужим лесам, по лугам, полям и оврагам. Но боязнь моя оказалась напрасной. До первого класса я от брата научился читать и писать, знал арифметику, и на игры у меня всегда оказывалось времени в избытке.

КОРОТКИЙ СЛЁЗНЫЙ ПУТЬ

Однажды летом, когда ещё не начинали косить хлеба, был объявлен день смотра колхозных лошадей для нашей армии. С вечера большие ребята разобрали себе уздечки, обрети, мундштуки, распределили табун. На каждого приходилось по несколько лошадей. Вести их на смотр надо было в Спешнево. Нас, маленьких, не брали и в счёт не ставили. Но утром мы все были на Заложке, куда пригнали табун из ночного. Ваське Федосееву всё же дали лошадь. Я расхныкался. Брат посадил меня на бокастую кобылу Дрободаниху, но повод в руки не дал, связал её со своей лошастью.

На Спешнево выехали рано. Летнее солнце лишь показалось из-за Понарина, когда мы поднялись за нашей Каменкой на перевал. Впереди и сзади нас ехали ребята на разномастных лошадях и вели рядом других лошадей, которым не хватило всадников. Я уже пешком давно обошёл соседние деревни, знал где виднеется Якшино, где Коробочка, Готово, посёлок Скородное, Малое Тёплое и Спешнево. С бугра было так красиво, что дух захватывало. Мы поехали мимо Скородного по прямой большой дороге.

Из Скородинской Вершинки выбежал зверь и по овсу понёсся к Хвоцову — так назывался скородинский лес, куда в трицу наши деревенские ходили завивать венки. Ребята закричали, заулюлюкали. Это был волк.

— Миш, а он на нас не набросится? — спросил я.

— Где ему набрасываться? У него сейчас душа в пятках от нашего крика.

Волк скрылся вдалеке. Ребята стали перекрикиваться. Я водил глазами вокруг. Ехал я без поводыёв, держался Дрободанихе за холку, боялся упасть. Упаду, Мишка снова подсаживать меня не станет, вернёт домой.

Осмотр лошадей проводили военные. Хороших они записывали в свои бумаги, признавали их годными в кавалерию. Тогда в одном колхозе были Готово, Скородное и наша деревня вместе. От нас годных лошадей оказалось больше. Мы радовались этому. Готовские любили быструю езду, лошадей не берегли. У нас за лошадьми смотрели строго. Дед Алексан проверял сам каждую лошадь после работы. Если кто-нибудь приводил лошадь с разбитым плечом, замученную, потом хорошую лошадь для работы тот человек никогда не получал.

Перед обедом наши лошади прошли осмотр. Ребята направили табун домой. У них был уговор ехать быстро. И когда выехали из Спешнева, все отпустили свободных лошадей. Мой брат отдал мне повод и сказал:

— Мы погоним быстро. Ты шагом поезжай. Дрободаниха дорогу знает. Ничего не бойся.

Ребята закричали на лошадей, захлопали плетьюми, наладили их всех по дороге и погнали, погнали, погнали. Над дорогой поднялась пыль. Когда я выехал из оврага, табун несся уже мимо кустов Заднего Верха. Моя Дрободаниха порывалась тоже в бег, но я удерживал её поводами. И если она не бежала, то шла очень ходко. Я мотал головой, пугался чёрного грача в отдалении на скошенных лугах, темнеющего куста у дороги или большой кочки. Каждый безобидный предмет от страха превращался в волка. Ребят уже не было видно, и пыль от табуна рассеялась над полями.

Я отсидел ноги. Руки устали держать поводыя. Я стал похлипать. Дрободаниха почувствовала мою слабость, а всхлипывания, видимо, приняла за понукания, потрусила. Я запрыгал на ней, словно резиновый мяч на неровном поле.

У Скородинской Вершинки вдруг оборвался правый повод. Я потянул за левый — хотел остановить лошадь. Она свернула нехотя в рожь, развернулась на месте и снова пустилась рысью по дороге. Я направил её опять ко ржи и пустил рожью. Она стала закидывать голову назад, норовила схватить меня за ногу.

Я ревел во всю ивановскую. Тпрукал, хотел остановить Дрободаниху, сползти с неё, но она стремилась к деревне, потому что время для неё было обеденное, а сдерживать её я уже не мог.

Я весь разбил на её спине и холке. Вдруг из руки выпустил повод. Кобыла наступила на него, угнула голову, споткнулась. Я полетел с неё в рожь, закричал от испуга, что она наступит на меня копытом, раздавит. С шумом и топотом, отчего сотрясалась земля, Дрободаниха пронеслась мимо меня. Я полежал во ржи, глядя через колосья в

небо. Колосья склонялись, покачивались, словно жалели меня. Небо синело высоко, было чистое. Мне захотелось на небо, где никого нет: ни волков, ни лошадей, ни ребят, которые начнут смеяться надо мной, когда я приду в деревню. Я снова пустил слезу. Было обидно, что я не доехал до деревни на Дрободанихе, слетел с неё.

Я встал. Рожь скрывала от меня всё. Я обрадовался, что меня никто не видит во ржи, решил говорить, что я сам слез с лошади, не захотел ехать до самой деревни. Я пошёл по ржи, не выходя на дорогу. Рожь застревала между пальцев ног, колосья кололи лицо, стегались. Я вспомнил один случай с волком. Однажды на Заложке зверь схватил Машкову овцу и потащил её на спине по ржи. Время было вечернее. Днём прошёл дождь. Небо было ещё хмурое, туманилась трава. Мы стерегли скотину после пригона стада пастухом, каждый свою, видели, как выскочил волк из ржи, схватил овцу, взвалил её на спину и скрылся снова в рожь.

Мы все закричали. На выгоне был мой отец. Он собирал в табун для ночного лошадей. Он развернул жеребца и понёлся по дороге на Коробочку, потом свернул в рожь и стал плетью хлестать волка. Мы видели, как волк вдруг запрыгал над рожью. Он бросил добычу и належке быстро унёсся от скакуна. Отец привёз овцу к Белому колодцу. Она была мокрая, израненная, дрожала жалко и бессильно. Хозяйка унесла её домой, а мы допоздна обсуждали это событие. Я гордился своим отцом, считал, что я тоже поступил бы точно так.

На перевале я вышел на дорогу и беззаботно зашагал к деревне.

Издали я увидал толпу ребят. Они шли от конюшни к пруду. Я остановился. Ребята стали купаться у выгона, где был крутой берег. Они раздевались, разбегались и прыгали в воду. Мне раздеваться было нельзя. Ребята увидят ссадины на мне, но поверят, что я сам прыгнул с лошади. И снова слёзы обиды заполнили мои глаза. Я пошёл тихо, думая, как плохо быть неумехой: плохо не уметь ездить верхом, не уметь бегать, не уметь плавать, не уметь смело разговаривать, не уметь плотничать, не уметь косить и ещё не уметь и не уметь... За этот короткий слёзный путь я решил научиться уметь всё, а главное, не бояться ничего и даже волков, как не боялся их мой отец.

К пруду я пришёл после обеда. Ребята стали донимать меня, что я не умею ездить верхом на лошадях, что Дрободаниха и то сбросила меня. Я стал злиться, гонялся за каждым с кулаками. На мою злость ребята пуще дразнились. Мне было их не унять. Я остановился, молча посмотрел на каждого, гордо повернулся и пошёл к дому. Тогда за мной погнался Лёнька, стал оправдываться, что он нарочно дразнился, что он был за меня. Подбежали Колька с Тикой, тоже присоединились к нам, а потом и Шурка Беленький подошёл. Мы снова помирились и отправились играть к колхозной риге, где расчищали ток для молотбы, а мой отец устанавливал конную молотилку.

СОЛОМЕННЫЕ ТАЙНЫ

Дед Яша давно жил в Москве и работал на железной дороге, ездил от Москвы до самого Чёрного моря на поездах ревизором и каждое лето приезжал к сенокосу в деревню. Из родни у него был только один брат, дед Алексан, но Яков у него не жил, а занимал избу моей крёстной, потому что она тоже уехала жить в Москву.

Она присылала мне книжки с картинками. Дед Яша вручал их мне, как награду за героические подвиги. Ребята окружали меня — мы садились на траву и рассматривали картинки. Я научился от брата читать по крупным буквам и прочитывал некоторые надписи, а где не читалось, сочинял рассказы по картинке и просвещал друзей.

В то же время приезжали из Москвы к деду Володе, прозванному почему-то Дрободаном, внуки Мишка и Колька. Они были нам какой-то родней и в первый же вечер приносили нам гостинцы и звали с утра играть на Телячьем лугу в футбол. Мишка был у них старшим, передавал нам правила разных игр и руководил ими. Он был пионером и на зависть нашим старшим ребятам носил несколько дней пионерский галстук. Один галстук, уезжая осенью в Москву, Мишка подарил моему брату, и он тогда отправился в школу в красном галстук, стал настоящим пионером.

Дед Яша приезжал всегда в новой железнодорожной форме, мы оравой сбегались смотреть на него, получали гостинцы и похвалы, что за зиму хорошо выросли. Он расспрашивал нас о деревенских новостях, а нам рассказывал о Москве, про электричество, которое, как он видел из поезда, шагает к нам в деревню, и про разные чудеса.

С первых же дней дед Яша принимался налаживать косу, первый на всю деревню стучал отбивным молотком, оттягивал, острил жало косы. Потом он выходил с нами за амбары к ручью и на лужайке, на сочной траве пробовал косить. После его приезда скоро поспевали ягоды и начинался сенокос.

Я помню самое первое сенокосное утро. Ночью слышится голос деда Яши. Он будит всех на работу, зовёт и моего отца, но отец уже и сам не спит, выходит из избы, наливает у колодца в брусочницу воду, кладёт в воду брусок, снимает с тополя косу и со всеми вместе уходит по деревне к лугу.

Тогда и я боялся проспать своё время. В сенокосную пору спать и нам приходилось меньше, потому что у нас тоже появлялась своя работа, главнее которой, как мы считали, не бывало. Мы каждое утро должны были носить косарям завтрак. Носили каждый своему отцу, а я носил отцу и деду Яше. Моя мать варила и на него завтрак.

Мы так же, как и косари, созывали по порядку всех ребят, выходили за деревню и шли через Телячий луг к лесу. Бегать нам было нельзя, потому что руки были заняты и за плечами в мешочках лежал хлеб и другая еда. Тут уже и не споткнись. Вылетит из рук кувшин с квасом, молоко разольёшь — то-то накормишь отца своего. Идёшь осторожно, смотришь больше под ноги. Штанишки закатаны. Когда они намокают от росы, то большими пальцами часто цепляешься за порточки, сам себе подножку делаешь, спотыкаешься. Смотришь вперёд, чтобы интервал держался, не столкнуться с кем, и назад внимание обращается. Бывает, задний рот раскроет, не соразмерит шаг да врежется тебе в спину, протаранит. Тут тоже беда случалась.

В первое же утро у леса скашивается трава. Луг становится новым, неузнаваемым. Ни травы, ни цветов. Всё лежит большими сочными рядами. Я представляю, что пришла война, была битва, всё повергла и ушла дальше. Мне жалко становится мягкую траву с весёлыми цветами. Я иду молчаливый и грустный. Трава с цветами никому вреда не делают, а их косят. И знаешь для чего, а всё равно жалко.

— Скосили уже, — слышится грустный разговор.

— Быстро они, правда?

— Когда только успели?

Косарей не видно. Действительно, как быстро они прошли луг. Где они теперь? Далеко ли нам ещё идти? Кто-то командует «стой». Мы останавливаемся и слушаем. Сперва ничего не слышно, но постепенно улавливается отдалённый шум, что-то вроде «вжик» повторяется равномерно раз за разом.

— Это они, — шепчет кто-то.

Все кивают головами. Да, это они. Они, наши отцы, косят на лугу, где-то под березняком, траву. Далеко же они ушли до завтрака!

Тут идти можно только по дороге. На скошенном колко ногам, высокие ряды сена надо перешагивать. Я выхожу вперёд и шагаю быстро, потому что солнце спешит в небо, надо и нам спешить.

За поворотом показались косари. Они косили уже под березняком. Склон тут был короткий. Все не умещались на нём. Последний, а последним всегда косил дед Яша, только закашивал себе ряд, а первый уже поднимал на плечо косу и шёл к берёзкам. Тут мы замедляли шаг, узнавали, где чей отец.

Нас встречали радостно, с шутками, спрашивали, что кому там настряпали. И вот объявлялся завтрак. Косари смотрели, где нет солнца и куда не скоро оно заглянет, рассаживались в тени и сообщали, кому что принесли, хвалились друг перед другом, словно маленькие, завтраками.

Когда мой отец начинал завтракать, то мне тоже хотелось есть. Но я отворачивался от его еды, смотрел, что принесли другим, сравнивал с нашим завтраком. Отец заставлял меня есть вместе с ним, но я отказывался. Он оставлял мне чего-нибудь поесть потом, отдельно. Завтракали косари всегда весело, поднимали на смех тех, кому был принесён кое-какой, спешно собранный завтрак.

Рубахи у косарей были мокрыми от пота. После завтрака они направляли нас за водой на сельский луг, где был вырыт колодец, а сами ложились отдыхать, дремали. За водой мы шли не спеша, набирали по кувшину, приносили воду и подавали тем, кто не спал, первым. Не спали никогда дед Яша, мой отец и ещё двое-трое косарей, разговаривали. Дед Яша рассказывал московские новости и спрашивал о колхозной деревенской жизни. Я любил слушать их интересные разговоры.

После отдыха косари косили ещё, но не долго, потому что на солнце высыхала трава и плохо, тяжело скашивалась. Роса — долой, коса — домой. Косари скоро поднимали косы на плечи, уходили на долгий дневной отдых, а мы попутно рвали щавель, набирали по большому букету ягод и к обеду спешили домой, потому что в сенокос в полдень в пруду хорошо ловились караси. Мишку уже назначили на колхозную работу, и в это время он перепахивал пары. В обед мы с ним брали большую плетушку и шли к пруду.

Караси бились в корягах. Вся деревня вываливала к пруду с большими и малыми кошёлками. Пруд наш с весны обмелел, я у берегов ходил по шею, помогал брату тянуть плетушку. Иногда он кричал «есть», пытался выловить из плетушки карася, но и сам заглатывал воду, был тоже низковат ростом для той глубины, оттаскивал снасть на мель, и тогда я помогал ему овладеть добычей. Рыбу он складывал в кепку, туго натягивал её потом на голову, прятал за пазуху. Он рыбачил потому в штанах и рубахе. Крик с пруда слышался на всю деревню. Когда заканчивался лов, надо было идти на работу, все выбирались на берег, считали улов, делили на равные кучки, если кто ловил с соседом или дружкой.

В то последнее моё дошкольное вольное лето однажды мы с братом поймали шестнадцать больших карасей. Сделались сразу героями на всю деревню. То-то было нам радости, то-то было разговоров потом.

А раньше, когда на рыбалке я был ещё негодным в помощники брату, то со своими ровесниками промышлял рыбу, как мог. Мы караулили её с берега, привязав на верёвку маленькую плетушку. Забьётся в корнях рыба, бросаешь тут же в воду плетушку и тянешь. Случалось, что и бывал улов.

Однажды наша удача раззадорила бабку Малаху. Увидела она, как мы словили большого карася, бросила мытьё своё, потеснила нас от обрывистого берега, где под берегом сплетались ракитовые корни, принялась рыбачить. Она взяла из своего мытья рубаху, завязала рукавами у ворота, настоящий трал сделала, нагнулась, погрузила этот трал в воду и поволокла. Рубаха была замашная, воду не пропускала, а воды в неё ведер десять, пожалуй, зачерпнулось. Бабка Малаха поднатужилась да в воду и кувыркнулась, словно её кто спихнул. Мы — в смех, видя эту неразумную комедию, а она сидит в воде и кричит:

— Караул! Разбой! Утопили. Разбой! Караул! Утопили.

От испуга и от старости бабка Малаха сама и встать не могла в воде. На её крик прибежал Лёнькин отец, Михаил, спас бабку. Он её спас, а она и обернула на него своё обвинение, будто он её спихнул с берега. Бабке, конечно, поверили бы, не будь нас рядом. А поверили бы потому, что отец Лёнькин буйным бывал в праздники. Лёнькин отец плюнул от злости, пожалел, что спасал старую, и ушёл на погреб досыпать. Бабку внуки домой отвели. Внуков у неё было много. Тогда они ещё не уехали куда-то под Москву и кошка их не жила в колхозной риге, куда она поселилась потом, после бабкиной смерти и опустения её избы. Потом-то мы с отцом и ловили эту кошку, но сразу не поймали. Поймал её отец позже, и не поймал, а в лютый морозиче она сама прыгнула ему на плечи и обласкалась об лицо, попросилась в тепло. К ней и котята пристали, когда отец завернул её на санях в свиту. Кошка долго жила у нас, пока в войну не взорвали немцы нашу избу, была самой лучшей из всех деревенских кошек, а котята не привыкли к людям, куда-то подевались.

Сенокосы у нас в колхозе, как мне помнится, всегда бывали погожими. Через день после косьбы на луга выходили с граблями девки с бабами, сгребали со склонов сено вниз, оставляли в валах на день-два, а потом копнили и стоговали. Со стогованием сена у нас, ребят, не убывало дел. Нам надо было поить холодной водой лошадей, прыгать по стогу, уминать сено, кататься на возюльках. Сено из копен сволокивали в стог на лошадях. Зацепят полкопны верёвками, лошадей и тащит. На лошади сидит погоняльщик с кнутом из старших ребят. Сено тяжёлое, но нам всё равно хотелось прокатиться на нём. Выскакиваешь тогда из куста (дорога-то у леса проходит), прыгаешь на возюльку — и вдруг получаешь по спине или ниже кнутом, сваливаешься, а потом встаёшь и чешешься и видишь угрозу кнута. Тогда в обиде и затаённой мести на обидчика поворачиваешься к лесу, зовёшь ребят и уводишь их за щавелём или ягодами.

Но скоро проходит сенокос, потому что работают на сенокосе все, и работают дружно и весело, словно праздник

великий справляют. За сенокосом наступает самая рабочая пора.

В рабочую пору косят и убирают хлеба. Названий у этой работы несколько: «рабочая пора», «страда», «жатва», «уборочная», «жнитво». Каждое это слово определяет трудную работу. Как будто весной не было работы горячей, в сенокос тоже будто бы пот не проливался, а вот собрать урожай и «горячо», и «страдно». Да так-то оно и было.

Ещё задолго до сенокоса мой отец готовил ореховые палочки для «пальцев» на крюк. Крюком называется специальное окосье для косьбы ржи. Крюк тяжелее обыкновенной косы для травы, и совладать с ним надо тоже иметь сноровку. И рожь тяжелее травы. Траву возишь на косе по земле, а рожь надо носить на косе и «пальцах» и класть в ряд колос к колосу. А погода к этому времени становится суше, косят рожь без росы — по жаре. Здесь жарко от солнца, от созревшей ржи, от сухой земли и от самой работы. На косьбу ржи не носили завтрак, а носили лишь воду. Мне был наказ от матери носить отцу воду на поле два раза. Работа эта была мне не по душе, словно наказание. Воду нести надо было в двух кувшинах. Скажет отец, что косить они будут у Малашкина вершка, что там, может быть, и есть близко вода, но на такой жаре могла и пересохнуть, и несёшь туда. Идешь по дороге — вокруг рожь. Косарей не видно и не слышно. Оводы липнут к лицу, садятся на рубаху, ползают по ногам и жалят до боли через материю, словно голого. Руки заняты. Кувшином можно только прижать овода на бедре, а с лопатки не сгонишь.

Идешь, а впереди над колосьями, словно вода волнами, переливается горячий воздух, а может быть, это не воздух, а мираж, как в пустыне. Бывает, не сговоришься с ребятами (они тоже нехотя исполняют этот труд), идешь один. По этому полю гнал мой отец волка на колхозном жеребце, отнимал овцу. Идти боязно. Придумываешь, что по такой жаре волк не побежит, да и стадо на лугу, в другой стороне, отводишь страх в отдаление и тут же с ужасом представляешь, как пойдешь потом по низкому жнивью босиком.

Доходишь до скошенной ржи. Косарей не видно. Останавливаешься, ищешь их. Уж не ушли ли домой или на другое поле? Зря нёс кувшины. Вдруг слышится свист и крик. Далеко впереди, сливаясь с ржаными колосьями, виднеются белые фигуры косцов. Они то показываются в мареве, то тонут в нём снова, словно плывут в волнах по воде. Это они, они!

Я набираюсь решимости, съёживаюсь и ступаю в жнивье. Низко скошена рожь. Жнивье колет подошвы. Листья осота впиваются мелкими спицами, головки пустырника десятками игл пристают к пальцам, к неогрубевшей коже в выемке подошвы. Вспоминаю совет матери: «Не пугаться», смахиваю колючки, тиранув подошвой о порточину, иду дальше. Скоро ноги привыкают, горят от наколов, однако новой боли не чувствуют. И скоро я вижу идущего мне навстречу человека. Видимо, я медленно двигаюсь, меня идут выручать.

Человек вдалеке маленький. Я иду, иду, и нет конца колючему жнивью, не кончается путь. Солнце жжёт голову и спину. И вот встречный человек вырастает, сразу приближается, и я узнаю в нём своего отца.

— Принёс воды! — радуется отец и берёт кувшины. — Какой ты молодец. Мы давно без воды. Все сгорели. Да вода-то холодная!

— Пап, а ты пей, — говорю я.

Отец и не смочил губы. Он понёс кувшины к косарям.

— Вижу — ползёшь, — продолжает говорить отец. — Издалека узнал тебя. Говорю мужикам: «Вода ко мне идёт». Они мне: «Иди, Никитич, встречай. Поди, разумши малый, колко, не скоро дождёмся. Мы за тебя твой ряд прогоним».

— Пап, ну, ты пей воду-то, — снова напоминаю я.

— Как пить — там мужики ждут.

— Я же тебе принёс-то.

— Ты всем принёс, — отвечает отец. — Мы тут один за всех — все за одного. Дойдём, там и попью.

Когда мы подошли, косари докашивали отцов ряд. И вот они сходятся в круг, обтирают рукавами холстинных рубах лица, губы, расправляют плечи и нахваливают меня. Первым пить воду заставляют отца и деда Яшу. Они пьют, один за другим. Вода холодная. Черпал я её в своём колодце. А в нём летом вода глубоко, не прогревается солнцем. Кувшины мокрые, словно в слезах. Косари берут их горячими руками, радуются и светлеют в лицах. Поят водой и меня, а потом отец провожает меня немного и возвращается к работе. Кувшины он оставляет, жалеет меня. Я выхожу на дорогу, плюю на ладони, затираю наколотые подошвы и налегке несусь к дому. Я то бегу, то скачу через ножку. Оводы, словно пули, ударяются в меня с лёта и отскакивают в рожь.

На второй день мать уходит вязать рожь в снопы. Мне даётся наказ прийти к ней носить снопы в копны да опять же захватить воды косарям, а уходить от дома, когда солнце взойдёт на Пантюшкину избу. И вот с утра я уже неволен над самим собой. Чтобы прийти к матери вовремя, я должен не прозевать, когда солнце сравняется с избой Пантелея, потому что наши часы сломаны и время надо узнавать по солнцу. Смотреть я должен от своего порога. И потому мне нельзя далеко отходить от дома. Я сбегая лишь к своему погребу, к пруду, окунусь и снова бегу к дому.

Пантюшкина изба за прудом. Солнце проходит над Хромыми — так называли крайний дом, потому что хозяин дома был от болезни одноногим. Потом оно проплывало над Ефимовой избой, потом катилось над широким проулком и спешило к Пантюшкиной избе. Я хватал кувшины, ведро с верёвкой и набирал воду. Солнце должно было стоять точно над трубой, когда я обязан был сойти с порога и направиться в путь. Косари шли второй захват от дороги. Они ещё не удалились, потому что косили не долго. Отец опять узнал меня, показал рукой не подходить к нему, поставить воду и идти к матери на помощь.

Снопы мать моя вязала большие и тяжёлые. Носить их мне не хотелось. Я отказывался от работы, канючил, прежде чем приступить к делу.

— Ногам колко, а их таскай.

— Да ну, сыночек, да ну, миленький, да помоги уж ты мне, — уговаривала меня мать, не отрываясь от дела.

— А, а Мишка не помогает, а мне носить.

— Мишка трудодни зарабатывает, — отвечала мать, ловко подпоясывая соломенным перевяслом сноп. — Вот нарботаем трудодней, получим много хлеба, овцу на хлеб тогда продавать не будем, а продадим вам на обновки.

— Да, опять Мишке первому всё купите.

— И когда же это я обделяла тебя? Да всё-то разом на вас и шилось, и покупалось. И что ж это ты несправедливость-то наводишь?

— Да, а в чём я в школу пойду? Мои тапки все разорвались.

— Тапочки я тебе скроила. Вот посажу их на колодку да отца и заставлю подмётки пришить.

Я оказываюсь, как говорится, припёртым к стене. Леня из меня мать вывела почти совсем своими уговорами. Остаётся брать сноп и тащить его... А вот куда тащить? На этот счёт можно тоже поговорить, но я не успеваю раскрыть рта, мать захватывает два снопа под мышки да два руками за перевясла и несёт их по жнивью на чуть заметное возвышение. Она кладёт снопы крестом, тут же берёт другие, начинает второй крестец и говорит мне:

— Так вот и клади. Копну сложишь, другую начнём. Копен шесть, поди, наберётся.

Вязать снопы мать моя любила, хотя на каждую работу она спешила впереди всех. Ленивые её за это не любили. Она больше работала в одиночку и навязывала по двенадцать — тринадцать копен ржи. В каждой копне должно быть по пятьдесят два снопа. Вечером, когда мы узнавали, кто сколько сработал копен, то у других, несознательных, кто работал сообща с лодырем да много беседовал, выходило по пять-шесть копен. Я радовался, что моя мать, такая работающая, была первой. Но на второй день, когда солнце опять должно было сравняться с Пантюшкиной крышей, я нехотя уходил в поле и опять, прежде чем взяться за тугое перевясло снопа, понести сноп или потащить волоком, я канючил перед матерью. Она опять уговаривала меня помочь ей. Она-то знала, что не я перед ней канючу, а леня моя оказывает мне сопротивление в труде. От лени мне кажется, что горячей поре никогда не будет конца и я вечно буду таскать снопы, складывать их в крестцы, в копны. И наставим мы с матерью ржаных копен по всей земле. Ну, если по всей земле, то на это я ещё согласен, это удивит всех. Скажут: «Вот какие Авдотья Леонова со своим Лёнкой: весь земной шар копнами заставили. Вот пример-то с кого брать надо».

Но и горячая пора проходит быстро. Ещё не все хлеба скошены и связаны в снопы, сношены в копны, а на полях уже поднялись высокие скирды. И днём и ночью возят на подводах снопы, возят, пока стоит погода.

И вот кончается рожь. Ржи много было. Всё другое — пустяк. Горох в один день колхоз смахнёт, вики с чечевицей — по малому клину. Овсов тоже много, но овёс легче косится, проса с гречихой мало, пройдут тоже скоро — это вроде и не главное и не тяжкое, не горячее да не страдное, не жатва это, а жатвишка.

Выросли скирды и у колхозной риги. И в один из погожих дней мы с ребятами с утра обегаем чистый ток, радуемся началу молотбы. Вот сейчас Федосей впряжёт в водила молотилки лошадей, встанет на полк с длинным погоняльным кнутом. Подавальщик снопов в барабан за широкий ремень с нашей мальчишеской помощью раскрутит маховик, привод от маховика сдвинет шестерни молотилки, Федосей скомандует лошадям трогать, расходиться — и пойдут, пойдут лошади по кругу, потянут водила, и зарычат шестерни, замелькают спицы маховика, побежит приводной ремень из-под маховика на барабан; загремит барабан, раскрутится до жуткого воя — и тогда посунет подавальщик сноп головой в барабан, брызнет из барабана зерно, ударит по занавеске из веретья, стреканёт по рукам, по лицам, запрыгает по чёрному току. Подавальщик тряхнёт сноп — и только ухнет барабан, перемолотив колосья, пережевав солому, ухнет и завоет снова, прося новый сноп.

Повернёшься туда-сюда, а скирда уже без головы, от барабана набросана солома, укладывается на верёвки, рожь с хоботом граблями сдвигается в ригу, где стоит наготове веялка. И этот шум шестерён, маховика с ремнём, уханье барабана, людские голоса, ребячьи крики — всё покрывает и глушит долгий бодрящий свист Федосея, раздаётся хлопанье кнута над ленивой лошадей или щелчок по ней. И куда, на что бросаться в таком кипенье дел?

Берёшься за грабли и сдвигаешь в ригу зерно, потом охупками оттаскиваешь солому, но получаешь отставку, потому что мешаешься, и тогда подаешься на скирду сбрасывать снопы. Летят снопы вниз. Кто там внизу — не зевай. И вот первая вязка соломы отбивает с тока к колхозному сараю.

— Ребята, кататься! — раздаётся крик. И все летят вниз со снопами, догоняют вязку соломы, прыгают, скатываются, смеются. Первая вязка выползает из верёвок, остаётся на полпути. Но за ней следуют ещё и ещё. Мы разбиваемся по несколько человек — всех-то и лошади не дотащить, а ругаться будут, — катаемся, пока не надоест.

Весёлая эта работа — молотба.

Дед Яша любил ещё подавать снопы в барабан. Его хвалили, что он чисто вымолачивает колоски, не заваливает соломой, с ним легко работать. Он был высокий, ему легко было растрясать сноп и равномерно подавать его под барабанные зубья, а случалось встать на его место Пантюшке, самому маленькому из всех деревенских мужиков, так горе молотильщицам от него, и только. Он сунет сноп, да второй, да третий, страшно заушает барабан, привстанут лошади, то лопнет вдруг ремень, то вырвется барабанный зубец и прострельнёт занавесь. Тут и ропот пойдёт, и смех. Отставят Пантюшку от барабанного полка — и снова дело пойдёт ладом.

Подойдёшь полюбоваться работой деда Яши, а он спрашивает:

— Как там наша солома прибавляется?

— Много уже, дядя Яша. Мы все называли его дядей.

— Собирайтесь спать в солому, — скажет он.

И ждёшь не дождёшься вечера. Молотили тоже спешно, чтобы управиться, пока погода. Пастух пригонял скотину, а молотилка работала. Нас разгоняли стеречь на вечерней росе коров. И долго тянулось время до того момента, когда выберешь себе одежду, чем укрыться, и отправишься к сараю в солому.

Дед Яша приходил спать с одеялом. Он выбирал себе место, обминал солому и залегал, словно медведь в берлогу. Мы устраивались поблизости, шуршали, делая норы, толкались, спорили за место. Дед Яша урезонивал нас.

— А ну, кто там задиристый такой, показывайся. Показываться никому не хочется, но он знает по голосу, вызывает сам.

— Колька, выходи, показывай свою одежду.

Колька Столыпин выбирается из соломы в рваной шубе.

— Я ничего. Это Шурка с Васькой.

— И я ничего, — говорит дед Яша, — а спать тебе придётся всё же в другой куче. Нам твои блохи не нужны.

— Уходи, уходи, — подхватываем мы.

Все, кто с шубами, удаляются, в шубах могут быть блохи, а от них и в свежей соломе сон не в сон будет. Дед Яша начинает рассказывать про колдунов, про невест с женихами. Большие ребята смеются, а нам страшно. Ночь впереди, пойдут колдуны, а ты с краю лежишь. Зарываешься потихоньку поглубже в солому и только звездочки в небе и видишь.

Большие ребята спрашивали у деда Яши про парад. Он рассказывал им, как на парад выезжает на белом коне с саблей сам Будённый, а потом по Красной площади идут строем красноармейцы с матросами, пролетают над Москвой аэропланы, проходят танки с пушками, тогда нам не казалось, что вокруг нас толпятся волшебники и всякая нечистая сила, мы опять перебирались поближе к рассказчику и слушали, раскрыв рты от удивления, слушали московские чудеса.

В рабочую пору к нам привозили кино. В сарае на стенку вешали большое белое полотно, на скамейку привинчивали динамо-машину, которую большие ребята на переменах крутили рукояткой, словно заводили трактор — и на полотне появлялись люди, совершали героические дела. Потом, когда кино уезжало, долго ночью в соломе шли громкие споры об увиденном. Кино тогда было немое, с надписями. Я садился рядом с братом и слушал его чтение, потому что он читал вслух всем. Потому-то я и поспешил научиться читать, чтобы обходиться в этом деле без посторонней помощи.

А утром ищут тебя, зовут или вытаскивают с одеждой, будят. Открываешь глаза и видишь над собой какую-нибудь бабку. Тормошит она тебя, пропавшие с грядки огурцы с тебя требует или морковь. Когда всё поймёшь, пройдёт сон, тарачишь удивлённые глаза на бабку и спрашиваешь:

— У нас нету огурцов. Какие огурцы?

— У вас нету, а у меня были. Были, а за ночь не стало. Говори, какие басурманы ходили?

— Не знаю. Я спал. Я ночью боюсь ходить...

— Вы у меня тут поспите. Вечером приду, покажу вам сон...

Но снова наступает вечер. Мать не пускает в солому.

— Безобразия от вас только. Спят они там. Дома есть место спать.

— Да это не мы. Мы не...

— Не вы, так скажите кто.

— А мы не знаем. Мы сразу заснули...

Темнеет в полях, темнеет на выгоне. Тёмная высокая фигура переходит над прудом через ручей, посвистывает птицей. Это дед Яша направляется в солому. Идём и мы. Сходятся все. Дед Яша устраивает суд, выясняет, кто ночью лазил по огородам. Выяснено: приходили ребята из Коробочки или из Шеинова. Это их дело, а наши не ходили ребята, наши спали в соломе да в «кино» играли.

— И всё же я плохо прошлую ночь проспал, — говорил дед Яша, когда к обиженной бабке отправлена делегация с оповещением её о ночных ворах. — Кто-то блоху с собой принёс. Надо будет сейчас погонять их. Полыни наломайте-ка.

Мы отправляемся за горькой полынью. Дед Яша делает веничек и обмахивает им тело под рубахой.

— Мишка, Сергей, помогите-ка малым. У них руки-то до спины не дотягиваются, — говорит дед Яша.

Большие ребята делают веники, ставят нас шеренгой и, сунув нам под рубахи веники, трясут ими, выгоняют блох...

И вдруг раздаются вопли. Странное дело. Полынь жжётся хуже крапивы. Лёнька и Тика бросаются домой жаловаться отцам. Я соображаю, как могло быть, что вместо полыни оказалась крапива.

НОВАЯ ТРУДНАЯ И ДОЛГАЯ ДОРОГА

Отоспали мы своё в соломе. В конце лета уехал снова в Москву дед Яша. Скучно стало нам без него. Работа для ребят вся прошла, закончилась. Там, где были пары, зарозовела молодая рожь. И, конечно, пропали бы мы от скуки, если бы не придвинулся осенний месяц сентябрь. Меня записали в школу. Надо было готовиться к учёбе. И многие километры пробежали мы к тем, пройденным раньше километрам, пройденным зря и не зря, пробежали по садам и лесам в поисках прямых тонких побегов для счётных палочек, чтобы на них сосчитать потом пройденные нами километры босиком по дорогам и бездорожью.

К осени все дикие дары природы сошли будто бы с земли, те дары, которые сорвал и жуй, но в лесу мы вдруг нашли пригодные к еде луковички. Назвали мы их куковинным маслом. Но это уже редкое растение. Теперь мне не приходится его встречать в наших лесах, чтобы посмотреть, чем мы питались, на чём вырастали. Недавно я узнал, что есть в природе растение ПЕРЕСТУПЕНЬ БЕЛЫЙ, что корень этого растения пахнет свежим хлебом, и мне захотелось снова стать мальчишкой, найти ПЕРЕСТУПЕНЬ БЕЛЫЙ и посмотреть на него да прикинуть, попробовав съедобность, нельзя ли в огороде развести и выращивать этот хлебный корень, может быть, тогда легче стал бы добываться хлеб наш насущный.